

МИХАИЛ  
КОЗЫРЕВ

ПОДЗЕМНЫЕ  
ВОДЫ

НИКИТИНСКИЕ  
СЯББОТНИКИ

*МИХАИЛ КОЗЫРЕВ*

*ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ*

*РОМАН*

*1 9 2 8*





МИХАИЛ КОЗЫРЕВ

ПОДЗЕМНЫЕ  
ВОДЫ

РОМАН

Кооперативное Издательство Писателей  
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“  
МОСКВА 1928

ТИПОГРАФИЯ  
«КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»  
3-я Мосполиграф  
Малая Грузинская  
Столярный п.,  
№ 57

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



# I

Веселый разговор . . .

*Народная песня.*

**По лестнице губернского исполкома спускались двое: один из той категории лиц, коим присвоено название «молодых»—лет двадцати пяти, скажем, другой—уже не первой молодости. Описание этого не первой молодости человека не встретит особенных затруднений: вообразите себе, что художник вылепил статую размерами несколько выше нормального человеческого роста; работа еще не окончена: вот отлично выдался торс, полный богатырского величия и силы, в воображении художника живет уже огромная голова, украшенная львиной гривой и гневными вдохновенными глазами. Может быть, это Моисей, рассекающий жезлом воды Черного моря, может быть—это Илия, проклиная народ и обрекающий землю свою на бесплодие. Но как часто бывает, художник удовлетворился одним лишь воображением**

будущего своего создания и бросил работу законченной наполовину: непосвященный зритель видит на богатырском торсе маленькую неумело посаженную голову с непомерно разросшейся широкой бородой, небольшими, едва заметными в глубоких впадинах глазами и тонким, чуть чуть искривленным носом. Какой-то шутливый волшебник прикрыл этот торс потрепанным, не достигающим до колен пальтишком, бросил на голову потертую серую кепку времен Керенского по крайней мере и пустил по свету этого незаконченного человека, вдобавок снабдив его нос довольно таки заметной краснотой, свидетельствующей о некотором пристрастии владельца к спиртным напиткам. Если добавить к сказанному, что человек этот не замечает нелепости своей фигуры и уверенно носит маленькую голову, выступая твердой, вполне приличной богатырскому росту походкой, то портрет его будет закончен вполне.

Внешность молодого человека, напротив, достаточно банальна, чтобы с такой же легкостью поддаться изображению. Скажем так: он невысокий, но принадлежит к тем, кто из сил выбивается, чтобы казаться несколько выше своего роста,— этому способствуют и высокие каблуки на ботинках полуамериканского типа, и полувоенная выправка, и фуражка с приподнятой тульей; черты его начисто выбритого лица достаточно мягки

и неопределенны, но не настолько, чтобы им нельзя было при желании придать выражения сурового или даже почти энергичного; движения резки, но той бросающейся в глаза резкостью, которая скрывает природную вялость: словом, он принадлежит к категории людей, которые хотят казаться не тем, что они есть на самом деле, и к тому их разряду, которым это удается. Одежда молодого человека не первой свежести, но выдает некоторое щегольство, смягченное некоторой же небрежностью, так что даже трудно понять, то ли стремится он изо всех сил поддерживать щеголеватость пришедшего в ветхость костюма, то ли намеренно придает щегольскому костюму небрежный вид.

Молодой человек еле поспекает за человеком уже не первой молодости, то отстает, то забегает вперед, обнаруживая суетливость, свойственную невысоким людям в присутствии людей высоких или высокопоставленных.

— Архитектор Уржумов строил—наш губернский Растрелли,— говорит немолодой человек, когда спутники выходят на площадь и в нерешительности останавливаются у под'езда губисполкома:—смотрите, какой фасад...

Голос у немолодого человека тихий и тоненький, даже немножко сладкий, как у потомственного купца, тренировавшего себя в вежливых

разговорах с покупателями—но в голосе этом то и дело проскальзывают угрожающие и грубоватые нотки.

Молодой человек с глубокомыслием мало понимающего в архитектуре любит здание, видимо—с единственной целью,—не обидеть своего собеседника.

— В автомобиле поедем, Галактион Анемподистович?—спрашивает он немолодого человека, с трудом выговаривая длинное и необычное имя.

— Не люблю. Бензином воняет. Возьмем извозчика—привычнее, да и потише едет. Побеседовать можно, Юрий Степаныч.

Юрий Степанович недовольно пожимает плечами: «как хотите, я могу уступить». Они нанимают извозчика, Галактион Анемподистович торгуется с извозчиком из-за лишнего пятака, поддерживая неизбежный разговор:—А овса-то почему?—Ну, небось, твоя лошадь овса-то и не нюхала.—Шутить извольте, гражданин!—А в это время Юрий Степанович, которому видно претит подобная экономия, медленно прохаживается по тротуару, стараясь показать, что он не участвует в этой роняющей его достоинство торговле. Наконец, сговорились. Спутники наши усаживаются на узком сиденьи, чахлая лошадь медленно тащит пролетку по одной из главных артерий города—длинной, узкой и кривой улице, планированной—

бог знает кем, и застроенной, бог знает когда, упрямыми и антиобщественно настроенными владельцами. Вот один из этих владельцев взял да и повернул, противно всем правилам, дом свой спиной к проезжающим, скрыв фасад во дворе, засаженном дуплистыми липами.

— Вырыпаева особнячок,—говорит Галактион Анемподистович, плотно усевшись на пролетке и сложив на животе маленькие с длинными тонкими пальцами руки. Пальцы его все время находятся в движении, как будто плетут нескончаемое незримое кружево.

— Да, Вырыпаева... Суровый был старик, сердитый. Тещу отравил, завещание подделал—и смотрите какую машину взгромоздил.

— Что ж это ему на людей смотреть стыдно было?—спрашивает Юрий Степанович.

— Чего ж стыдиться-то. Просто характер выдерживал. С характером был старик, не то что нынешние. Вот возьму да ко всем задом и повернусь. И повернулся...

Тонкие губы Галактиона Анемподистовича кривит чуть заметная лукавая усмешка.

Вот еще дом—тяжелый и неуклюжий, с маленькими глубокими окнами. Как бы пошли к этим окнам толстые тюремные решетки. Да есть и решетки—вот они: внизу в полуподвале, вверху на крыше, чугунные ворота тоже с решетками.

— Вахрамеева сыновья,—продолжает Галактион Анемподистович, шуря от наслаждения и без того узкие глазки.—Этому дому стоять да стоять, всех нас переживет. В девятнадцатом году красноармейцы в нем поселились, а он ничего, выдержал. Крепко сделан. В фундаменте каждый камушек пудов по пятьсот—из Финляндии нарочно выпивали. Законно строились. Трое их было, Вахрамеева сыновей, как строить начали, а когда кончили—один остался. Старший-то братец с лесов упал—бродил с средним по постройке, возьми да и оступись. Вот случай-то, хе-хе-хе!

— Что ж тут смешного?

— То и смешно, что среднего братца каменщик какой-то оговорил, будто бы он старшего-то с лесов толкнул. На каторгу сослал—один младший остался, в этом домике жил. В восемнадцатом году, царство ему небесное, расстреляли...

— За дело, наверное?

Галактион Анемподистович вздохнул и несколько минут молчал, продолжая попрежнему играть своими тонкими пальцами.

— Вот еще, Юрий Степанович—обратите внимание—построечка новейшего происхождения, стиль модерн—русс. Антропов—чаеоторговец. Денег у него было—счета не знал. А кончил строиться, подсчитал—одни долги и платить не-

чем. В сумасшедший дом угодил... А многие около него руки погрели—ох, многие...

— А этот?—перебил его Юрий Степанович, показывая на дворец, составивший некогда эпоху в городском строительстве: причудливое смешение всех стилей, мраморная облицовка, многочисленные беседки, башенки и балконы показывали скорее стремление строителя кого-то удивить, поразить, перещеголять, чем заботу о красоте и удобстве.—Этот тоже, небось...

— Ну, этот,—с уважением и почти со страхом ответил Галактион Анемподистович и отвернулся.

Улица повернула направо, потом налево. Старинные особняки с пожелтевшими выветрившимися колоннами, высокие доходные дома, деревянные хибарки сменяли друг друга, вызывая каждый соответствующее воспоминание Галактиона Анемподистовича. Внизу совсем неожиданно блеснула узкая полоска реки, с перекинутым через нее легким горбатым мостом.

— А мост,—спросил Юрий Степанович,—тоже?

И скептически усмехнулся, скосив глаза на собеседника.

Галактион Анемподистович как будто бы не заметил скептической усмешки и косога взгляда.

— Мост недавно строился, и люди эти живы еще—что ж об них говорить,—просто ответил он.

Юрий Степанович недовольно пожал плечами.

— Послушать вас, что ни постройка, то преступление. Один отравил, другой убил, третий зарезал.

— А то как же?

Галактион Анемподистович опустил голову, и пальцы его заиграли еще быстрее.

— А как же? Иначе нельзя, молодой человек. Нельзя-с! Хорошо построить—душу загубить надо. Кто первым-то строителем был? Каин? Так и на всех нас в малой степени каинова печать.

— И на вас тоже?—с усмешкой спросил Юрий Степанович.

— А то как же?

У Галактиона Анемподистовича в тот момент, когда он произносил эти слова, лицо выражало жертвенную невинность молодого ягненка.

— Не верите? А вот хоть бы эту хибарочку взять,—указал он на покосившийся и почерневший от времени деревянный дом:—каждое бревнышко потом, кровью да хитростью досталось. Слез сколько, горя сколько, неправды сколько. Простой мещанин, сапожник, всю жизнь бился, чтобы такую хибарку построить. И обманом, и лужью, и угодничеством своего добивался, а как построил, тут же и кончился. Труда не выдержал. А сколько народу так, ничего не построив, и умерло...

Галактион Анемподистович глубоко вздохнул, выражая этим как бы сожаление о тех, кто умер, ничего не построив. Видно было, что он попал на любимую тему: все более и более увлекаясь, продолжал он говорить, не обращая внимания, слушает ли его речь собеседник или нет, соглашается или дает скептические реплики.

— На костях, батенька, строится все, на костях... Это вы, милые мои, оставьте, что так можно: приказал и все тут. Готово! Выстроили! Чистенькими руками здесь ничего не сделаешь. А вы этой рученькой задушить боитесь...

Юрий Степанович брезгливо отдернул руку.

— Да что вы,—с возмущением ответил он:—это буржуазия строила нечистыми руками, а теперь пролетариат...

— Пролетариат. Что ж—попробуйте. Попробуйте, а мы посмотрим... Хе-хе-хе! Тут дерзнуть надо!—добавил он грубым и жестким голосом, который до сих пор ему удавалось скрывать под напускной слащавостью.

Юрий Степаныч обиделся.

— Никто не думает, что это легко. Мы не боялись крови—не испугаемся и труда.

— Кровь. Ну что такое кровь? Пустяки—смысл, и нет ее. Тут другое нужно. Пролетариат, своими мозолями... А у других, может быть, на душе мозоли остались—это, небось, пострашнее. Да...

Ты думаешь,—неожиданно перешел он на ты,—ты думаешь строить, это шутки шутить? Нет! Каждый камушек перестрадать надо.

— Я это тоже прекрасно понимаю,—согласился Юрий Степанович,—только не в том смысле...

Галактион Анемподистович успокоился и, опустив голову, продолжал играть пальцами, плетя все то же нескончаемое незримое кружево.

Извозчик переехал через мост. На берегу, к крутому обрыву прислонилась маленькая церковь—памятник далекой старины, выражавшая в архитектуре своей оборванный взлет и как бы боязнь той высоты, на которую она порывалась взлететь. Галактион Анемподистович быстро снял кепку и торопливо перекрестился.

— А вы в бога верите?—с удивлением и вместе с тем с радостью спросил Юрий Степанович: ему показалось, что он окончательно разгадал своего спутника.

— А что ж? Так спокойнее,—ответил Галактион Анемподистович, запахивая пальто и опять складывая на груди маленькие руки.

Городские улицы позади: началось пустошеселье, которым неминуемо оканчивается каждый из наших городов. Островками сгрудились на нем скромные человеческие жилища, там завод протянул к небу единственную трубу, там одинокий пустой сарай, там овраг и насыпь железной

дороги, корова, пасущаяся на насыпи, козел, жующий сухую траву, грязная реченка, одинокое дерево с обломанной верхушкой. Городская пролетка на этом пустыре вдруг получила видимость жалкую и нелепую, оказавшись незначительной черной подробностью, едва-едва оживлявшей мало живописный окраинный пейзаж.

## II

— Мы с вами попутчики, кажется?  
*М. Лермонтов.*

Может быть, вам, мой дорогой читатель, хотелось бы поскорее узнать, куда едут наши герои, почему ведут они такой странный разговор, что связало этих, повидимому, чуждых друг другу людей, и, наконец, кто они? Зачем они нам нужны?

Не точно ли также недоуменно оглядываете вы случайных спутников, садясь в вагон более или менее дельного следования? Глядя в их лица, выражающие чисто внешнее, конечно, равнодушие к вашей особе, не стремитесь ли вы точно так же разгадать, кем вас наградила судьба в качестве невольных знакомых. Вот этот большеголовый субъект со шрамом над левой бровью—не знаменитый ли это бандит, известный далеко за пределами Союза республик, бандит, который выбросит вас на первом полустанке, а вы так не-

скромно раскрыли перед ним ваш набитый казенными деньгами бумажник? Вот эта дама в шляпе, напоминающей молодой аэрсплан,—может быть, она жена того самого ответственного работника, к которому едете вы с рекомендательным письмом или с командировкой—а вы так неловко толкнули ее при посадке и даже попытались занять принадлежащее ей по праву нижнее место.

В таком недоумении остаетесь вы до тех пор, пока не тронется поезд. Поглядывая искоса друг на друга, вы несмело заводите разговор, предлагаете нож или стакан, или предупреждаете о близком буфете с продажей горячей пищи и не менее горячих напитков, вы рассказываете самый последний анекдот или случай из своей жизни,—и вот вы уже познакомились, и вот вы уже почти водружились со случайными вашими спутниками, и тогда вдруг окзывается, что большеголовый субъект со шрамом над левой бровью вовсе не знаменитый бандит, а наоборот—начальник уголовного розыска, да и дама с молодым аэропланом на голове совсем не жена ответственного работника, а только его бывшая любовница.

Поезд нашего повествования тронулся, и да не будет от вас секретом, что немолодой человек, обладатель оригинальной наружности—городской архитектор и носит он весьма скромную фамилию—Иванов, правда вполне компенсированную

редким и неудобопроизносимым именем. Молодой же человек, носитель банальной, так сказать, наружности—просто Юрий Степанович Бобров, я сказал бы—товарищ Бобров, но, как знать, не любят теперь у нас этого слова.

Кто же такой, спросите вы, этот Бобров?

Довольно таки трудно ответить. Он принадлежит, впрочем, как и каждый молодой человек, к тем людям, которых вес и значение определяются не столько положением, занимаемым ими в настоящее время, сколько теми возможностями, что они таят в себе, и теми надеждами, что на них возлагают окружающие. Юрий Степанович в тот момент, когда мы впервые встречаем его, был тем лицом, на которое рабочее население двух заречных улиц—Грабиловки и Плешкиной слободы—возлагало надежды в смысле коренного изменения невыносимых жилищных условий, в которых оно находилось.

В то время как и самый город, как всякий вообще губернский город, не мог похвастаться ни удобствами ни особенной чистотой, эти две слободы с десятитысячным населением с завистью смотрели на благоустройство нагорной стороны. Тесные деревянные постройки наседали на фабричные корпуса, болотные испарения вместе с дымом окутывали поселок по вечерам, осенью можно было только в высоких сапогах пробраться

по улицам, не имевшим никогда иного покрова, кроме естественного—грязи в дождливое время и пыли в сухое. Вечно незамерзающая река с радужной окраской воды омывала низкие берега за-речной части, постоянно угрожая наводнениями и являясь в то же время источником постоянных эпидемий. Если прибавить к этому тесноту, ставшую в последнее время бичом наших городов, то будет вполне понятно, что Юрий Степанович Бобров, взявшийся всерьез и с горячностью за работу по улучшению этих условий, не может расцениваться по тому скромному месту, которое он занимал до сих пор в конторе текстильного треста.

В то время, когда о постройках только-что начинали говорить, в то время, когда рабочие ждали, что начнет управление фабриками, а управление ссылалось на плохое состояние своих финансов, в то время, когда рабочий жилищный кооператив влачил жалкое существование, за два года работы успев только отремонтировать десяток старых домов,—в это самое время и появилась на городском горизонте скромная фигура Юрия Степановича Боброва, таившая в себе далеко не скромные замыслы.

Он, явившись на собрание кооператива, выступил с резкой речью против правления, не умевшего работать, и так как правление не особенно

держалось за свои права и преимущества, то оно ехидно предложило молодому оратору взяться самому за это дело. Это был вызов:

— Посмотрим, что у тебя выйдет.

Но Бобров смело принял вызов и на первых же порах развил такую энергичную деятельность, что скоро заставил о себе говорить и к себе прислушиваться.

Рассмотрев планы старого правления, сводившиеся к мелкому ремонту и перестройкам уже готовых зданий, он нашел их никуда негодными и предложил совершенно невероятный в условиях времени проект—построить новый город на новом месте.

Что же, кроме насмешек, мог встретить подобный проект?

— Шалаша не построим—так теперь сразу целый город!

Но Бобров придерживался другого взгляда.

— Да, план фантастический, план, может быть, и неосуществимый, но за него—все резоны. Ведь дело не в том, чтобы создать несколько тысяч квадратных саженей жилой площади—надо, чтобы эта жилая площадь расположена была в пригодном для жилья месте—а разве Грабиловка и Плешкина слобода пригодны для жилья? Не найдется средств?—Неверно. На ничтожное дело, для которого нужны ничтожные средства, не най-

дется, а на большое дело—найдется. Чем грандиознее предприятие, тем больше вызовет оно разговоров, шума, тем больше вызовет сочувствия, и в то же время только грандиозное предприятие может увлечь: а это очень важное преимущество.

Несколько докладов в рабочем районе.—выставка, иллюстрирующая преимущества нового плана—все это действительно создало некоторый шум, привлекло сочувствие рабочих, общественное внимание и внимание нужных для дела лиц. Одним из первых поддержал фантастическое предложение Боброва Галактион Анемподистович Иванов—губернский инженер, лицо которое уже по должности в таких делах должно было пользоваться авторитетом.

Перестройка рабочих слободок была давнишней мечтой архитектора. Еще за двадцать лет до Боброва он предлагал городской управе проект, заключавший в основе те же идеи, что план Боброва, и опиравшийся на те же доказательства, и вызвавший такие же насмешки со стороны тогдашних отцов города. В более зрелом возрасте он уже не решался выступать с грандиозными замыслами: сделавшись скромным помощником городского архитектора, он участвовал только в небольших постройках и лишь изредка напоминал о себе статьями в столичных журналах,

серьезно трактовавшими вопросы городского строительства.

Революция, казалось бы, развязывала ему руки, но он не проявил почему-то особенной инициативы, и только встреча с Бобровым оживила его усталую мысль. Почувствовав в молодом человеке не столько умения, знания и опытности, сколько горячего воображения, настойчивости и одержимости идеей, он взял на себя роль руководителя, стараясь, где возможно, умерить его восторги, где нужно—поддержать его и воодушевить в многочисленных неудачах.

Бобров обрадовался неожиданному союзнику: ему казалось уже, что теперь можно реально взяться за исполнение проекта—но архитектор остановил его:

— А у вас есть план? Смета? Где вы думаете строить?

Ничего этого не было у Боброва.

— Как же можно? Если вы явитесь с голыми руками, вам никто не поверит...

Вечером накануне того дня, которым начинается наш рассказ, они выбрали по плану место, представлявшееся им наиболее удобным для будущей постройки—а теперь юни едут осматривать это место, чтобы окончательно решить, где быть новому задуманному ими городу.

Свернув с шоссе они миновали засеянные тощими крестьянскими злаками поля и остановились на буграстом лугу, заросшем мелкой сухой травой вперемежку с можжевельником и ободранными кустиками ивняка.

— Ну что ж—вот и приехали,—сказал архитектор, вываливаясь из пролетки. Юрий Степанович еще раньше выпрыгнул из нее и, сохраняя строго деловой вид, осматривал окрестность.

Смотреть собственно было не на что. Пустые, ничего не родящие земли разбросаны по нашему отечеству на каждом шагу: можно было разве призадуматься, почему местность эта носит среди крестьян название Чортова Займища, почему пользуется она недоброй славой—но Юрий Степанович был не из тех, кто задумывался над такими вопросами. Здесь, где всякий другой увидел бы только пустырь,—он видел большой населенный город, с прямыми вымощенными булыжником улицами, грандиозные общественные здания, небольшие коттеджи, окруженные зеленью садов, железный трамвайный путь, сады, и фонтаны, и парки—словом, город, должный на долгое время быть образцом подобных ему поселений.

Оставив извозчика, наши спутники направились к берегу. Оттуда виден был старый город, его белые—каменные, и серые—деревянные дома, прислонившиеся к крутому обрывистому берегу, гор-

дые высокие колокольни, игрушечные старинные церкви с луковичными куполами—и рядом в низине черные трубы фабрик и скученные невеселые постройки Плешкиной слободы и Грабиловки.

— Перебросить мосток—и фабрики будут рядом,—сказал архитектор.

Они несколько секунд смотрели на медленно движущуюся воду.

— Почему здесь до сих пор не догадались строиться, — заинтересовался Бобров: — удобное, сухое место.

— Были причины... тут видите ли река глубокая, течение быстрое, а в прежние времена брода искали... Что ж,—добавил архитектор, вынимая из бокового кармана большой лист, оказавшийся увеличенным раз в десять планом Чортова Займища:—можно, благословясь, и за работу.

Он, прищурившись, осмотрел окрестность, бросил такой же прищуренный взгляд на план:

— Кажется, тут все соответствует действительности... Осмотрим бережок—каков то он из себя...

Берег был обрывистый, подмытый весенними половодьями. Наверху—оползший желтый песок, пониже песок посветлее. Ксе-где к обрыву прицепился кустарник с обнаженными длинными корнями.

Архитектор прошел вдоль обрыва, отмечая на плане незначительные, происшедшие за несколько

лет перемены. Он отметил и легкие водовороты, и несколько ключей, с веселым шумом низвергавшихся в реку, взял горсть земли и растер ее на ладони, что-то бормоча про себя. Юрий Степанович скучающе глядел на эту работу.

— Что?—нетерпеливо спросил он.

— Не торопитесь—тут еще дела найдется. Я только первую рекогносцировку делаю, да и то вижу, что город придется немножко отодвинуть.

— Почему?

— Почва сомнительного качества. Не было бы оползней.

Юрий Степанович тоже взял горсть земли, тоже растер ее на ладони, но ничего не понял, отряхнул и вытер руки о траву. Архитектор спустился к воде и пошел вниз по течению, осматривая каждое углубление, вглядываясь в каждый ничтожный изгиб реки. Юрий Степанович следовал за ним, осматривая все, что замечал взгляд архитектора.

Пройдя саженей двадцать, архитектор остановился и в изумлении развел руками.

— Да тут—смотрите—пещера.

— Да, пещера—равнодушно ответил Бобров.

Раздвинули кустарник—из пещеры пахнуло сыростью. Архитектор отколупнул от стенки горсть земли и тоже растер на руке.

— Что-то в роде гипса,—сказал он,

На дне пещеры стояла вода. Архитектор бросил листок—листок медленно пополз обратно.

— Течение... Это уж ни речка ли какая-нибудь... Куда же она идет? Занятно..

Потом он долго ходил по пустырю, отмечая на плане все приподнятые и опущенные места. Бугры лежали так, словно когда-то отдельные части земли опускались вниз, отрываясь от соседних пластов: так круты были возвышенности и так правильно четвероугольны. Все эти особенности мало радовали архитектора.

— А не поискать ли нам другого местечка? А?—спросил он.

— Чем же здесь плохо?

— Боюсь, осесть будет. Ну да мы это еще посмотрим. Не раз и не два сюда придется притти. Я думаю не обосноваться ли нам немножко подалее—там и повыше и, пожалуй, надежнее.

— Далеко от фабрики,—возразил Бобров.

— Не страшно...

— Как хотите,—ответил Бобров, которого такие мелочи и подробности не интересовали вовсе.—Только поскорее нельзя ли.

— Куда вы торопитесь? Нетерпение у вас, нетерпение—нехорошо. За такое дело взялись и торопитесь. Ведь в постройке самое главное—план. Ошибешься чуть-чуть,—а последствия...—

— План?—искренно удивился Бобров. — Было бы из чего строить.

Архитектор не согласился с этой, казалось бы, вполне очевидной истиной:

— Вот и видно, что вы не строитель. Материал всегда под рукой. Дерево везде растет, дерева нет—будем строить из глины, глины нет—из песку. Вот здесь, с места не сходя, все нужное имеется. Покопайся поглубже—найдешь известняк. Человек вот на таком пустыре начал работать с голыми руками, а вы говорите—материал.

— Вы вот в каком смысле,—согласил Бобров.— А я ведь без философии. По моему, прежде всего деньги нужны.

— Вы правы,—засмеялся архитектор.—Да и то не совсем. Вот вы все о материале сомневались—а посмотрите—материал-то вот он.

Маленькие глаза архитектора загорелись лукавым огоньком. Видимо, ему только сейчас пришла эта мысль.

— Где?

— А вы не видите? Да не туда смотрите—глядите назад!

Маленькие глаза архитектора видели больше, чем нормальных размеров глаза Боброва. Маленькие глаза архитектора отметили на горизонте черную полосу леса, которой Бобров не приметил.

— Видите вон тот лесок. Это—Слуховщина. Вы здесь человек новый, а я знаю, что деревья там не на один такой городок хватит. Мы его почти даром получим... Хорош лесок?..

Бобров тоже заметил черную полосу на горизонте.

— Не пропадем! Построим! — закончил архитектор, и его глаза выразили неподдельный восторг, восхищение, предчувствие удачи.

Он похлопал Боброва по плечу и даже немножко подпрыгнул, при чем его тяжелое тело качнулось на подобие мешка с мукой.

— Я в это дело больше вашего верю, Юрий Степанович!

### III

О, дружба, да вечно пылаем  
Огнем мы бессмертным твоим!

*А. Дельвиг.*

Уже смеркалось, когда Бобров, оставив архитектора на площади перед губисполкомом и взяв с него слово приготовить план в самом непродолжительном времени, направился в скромное жилище свое на бывшую Грабиловку. Поездка на пустырь и уверенность архитектора в успехе сильно подняла его настроение: как-будто начиналась уже настоящая работа, и ему—человеку нетерпеливсму и с горячим возбуждением—представля-

лась эта работа законченной, сам он—прославленным строителем нового города, и на оживленных вечерних улицах он чувствовал себя голсвой выше каждого из праздной толпы.

Глядя кругом себя, он видел узкие улицы, хибарки, особняки и дворцы, построенные двести и триста лет тому назад, пережившие славу своих владельцев. Весь город казался ему—памятником чьих-то мгновенно блеснувших звезд—бесследно—бесследно ли?—исчезнувших с горизонта. Весь город представился его возбужденному воображению кладбищем славы. Вся страна, вся земля, весь мир—все чудеса вселенной от храма Днапы и садов Семирамиды до Эйфелевой башни и Панамского канала, все великие произведения человеческого духа предстали ему как след мгновенного взлета чьей-то безудержно выросшей мысли.

Вот блеснула она, эта гениальная мысль, и вот уже взвилась хвостатой кометой, и вот уже блещет каскадом ниспадающих звездных хвостов, и все люди, весь город, вся страна и весь мир—все почтительно подняли головы вверх, все дивятся, все шепчут, называя имя знаменитого строителя:

— Бобров! Бобров!..

— Бобров, да какого же ты чорта! Оглох что ли?

Юрий Степанович был сброшен этими словами с высот мечты на низкую и неприглядную землю.

Высокий человек в соломенной шляпе, белом кителе, с тонкой тросточкой в руке, улыбался ему, показывая крупные белые зубы.

— Полчаса гонюсь за тобой,—насилу догнал. Куда ты торопишься?

Бобров не мог не узнать в этом высоком, улыбающемся человеке своего товарища по гимназии Алафертова. С ним связано было у Боброва одно из самых неприятных воспоминаний детства. В гимназии во дворе стояло бревно, заменявшее в то время гимназистам класс физкультуры. На этом бревне происходила борьба, конечной целью которой являлось—сбросить противника на землю. И вот наш малолетний тогда герой в первый же день, как только обратил внимание на это бревно, был позорно сброшен с него и кем же? Как раз Алафертовым—последним учеником его класса. Две недели после этого он упражнялся в искусстве сбрасывания с бревна и добился того, что мог победить любого из своих одноклассников, но опять-таки кроме Алафертова. Этого было достаточно, чтобы Бобров возненавидел и бревно, и Алафертова, и самое воспоминание о первой своей неудаче. И вот—он здесь, и, конечно, не может не напомнить одним видом своим об этой неудаче. Откуда он появился? Что он здесь делает? Почему до сих пор ни разу не подался?

Алафертов смотрел во все глаза на возбужденное и несколько сконфуженное лицо Боброва и продолжал улыбаться.

— Да что с тобой? Влюблен что ли?

Нет ничего неприятнее встречи со старым товарищем или другом твоего беспечального, как говорится, детства. Давно ли кануло оно в вечность, это беспечальное детство, чтобы только изредка вернуться во сне в виде старого учителя чистописания, который стоит будто бы над твоей партой и, помахивая в воздухе длинным, корявым испачканным чернилами пальцем, будто бы говорит тебе:

— Бобров, ты опять на тетрадку кляксу поставил. Встань в угол, Бобров!

И будто бы ты, сконфуженный, злой идешь в угол, и в спину тебе негромко смеются твои товарищи и друзья твоего беспечального детства.

Как сладко очнуться от этого сна и сладко, очнувшись, вспомнить, что для тебя уже невозможно прошла эта золотая пора твоей жизни. Ты уже чортом смотришь на всех с высоты твоего партийного ли, общественного ли величия, и вот откуда-то появляется ферт, может быть—в прорванных на коленях штанах, может быть—с незавидной репутацией человека, слишком вольно относящегося ко вверенным его попечению народным суммам, и называет тебя Мишкой или Саш-

кой или Юркой, когда ты давно Юрий и даже Степанович, хлопает покровительственно по плечу и даже напомнит:

— А помнишь, Юрка, как мы с тобой вместе яблоки воровали?

Или, немножко подумав, скажет:

— А помнишь, как тебя батя из алтаря за ухо вывел?

И тебе нечего ответить на это—ты должен мило улыбнуться, ты должен, может быть, расцеловаться с ним—со старым другом твоего беспечального детства.

Так именно и отнесся Бобров к этой встрече—даже расцеловался с Алафертовым.

— Слышал о тебе, слышал,—начал Алафертов,—город задумал строить.

Боброву казалось, что эта мысль—достояние очень и очень немногих, и удивился, каким образом дошла она до Алафертова.

— Да что ж—поговаривают. Я знаю тебя, Юрка. Мы еще в гимназии говорили—вот этот далеко пойдет. Кто о твоих талантах не знает.

— Никакого города я не собираюсь строить,—резко оборвал Бобров:—кто это тебе наболтал?

— Ну, не собираешься. Никогда не поверю. Ты—и вдруг не сделаешь чего-нибудь такого... Только чур—обо мне не забывать. Ну хоть управ-

делом возьми—не подведу. Ты знаешь—ведь я тоже могу быть полезен.

Что же оставалось ответить на это хотя и нескромное, но дружеское предложение? Отказать,—а вдруг вся затея кончится крахом,—и он только напрасно обидит друга своего детства.

— Посмотрим,—ответил Бобров.—А ты что сейчас делаешь?

— Что ж я могу делать,—скромно ответил Алаферов:—мы с неба звезд не хватаем. Перебиваюсь с хлеба на квас...

По внешнему виду Алафертова и по его костюму трудно было предположить, что он перебивается с хлеба на квас—его лицо говорило скорее об упитанности, а никак не о нужде.

— Мог бы для себя и получше работу придумать,—насмешливо ответил Бобров.

— Где нам! Я ведь не то, что ты. Ты—гений. А мы любим на готовенькое, так-то легче... Я тебе говорю,—звезд с неба не ловим. Ты, небось, когда на девочку смотришь, глазки замечаешь, а мы на ножки смотрим... Кстати,—что ты сидишь тут каким-то отшельником,—неожиданно перешел Алафертов на другую тему:—хочешь я тебя с девочками познакомлю. Преотличные есть экземпляры. Ахнешь! В Москве таких нет.

Алафертов сложил два пальца и смачно поцеловал их.

— Или тебе не до них? Великими делами занят? Самое злое, что может придумать человек, чтобы оскорбить другого,—это высказать другому в несколько иронической форме самые его затаенные мысли. Ведь он, Бобров, только-что думал о своих проектах, как именно о великих, только-что хватал с неба звезды—и вдруг он то же самое слышит—и от кого? От Алафертова!

— Нет, почему же занят,—оскорбленно ответил он:—я свободен. Познакомь.

— Знаю, что ты большой любитель. Помнишь, как тебя на Гребешке мальчишки побили?

Бобров пропустил мимо ушей последнее, уж черезчур бестактное, замечание своего товарища. Да и чего еще, кроме бестактностей, ждать от друзей далекого детства? Но Алафертов тотчас же сам заметил бестактность и постарался вамять.

— А Мусю помнишь? Ведь она тоже здесь.

Это воспоминание оказалось для Боброва более приятным, чем воспоминание о Гребешке.

— Ну? Неужели? Что она теперь? Замужем?

— Этого мало сказать. Ты помнишь ее? Хорошо помнишь? Тоже особа, можно сказать, гениальная. Важное лицо...

Боброву вспомнилось: белокурая головка, с чуть вздернутым, покрытым веснушками носиком, задорные глазки живой и веселой девочки—геронни обеих гимназий, некогда покорявшей серд-

ца не столько красотой, сколько живостью и некоторою вольностью в обращении. Скольких стоило трудов, чтобы овладеть сердцем своею нравной кокетки, вечно окруженной поклонниками. Вспомнилось ему и то, что, добившись ее очевидного расположения, он неожиданно для нее стал избегать встреч с нею—и только потому, что какая-то Люся—брюнетка и большая жеманница затмила свою излишне развязную соперницу. И этот образ и эти воспоминания мало вязались со словами «большое лицо».

— Им это просто—не то что нашему брату. Глазками так, глазками эдак—и всеми делами вертит. Неужели ты ничего не знаешь?

Недавно приехавший из столицы Бобров не имел времени, а по правде, и желания знакомиться с городскими сплетнями. Теперь эти городские сплетни обрушились на него из уст Алафертова, оказавшегося весьма осведомленным в подобного рода делах.

— Она тут у нас всех закрутила. Товарищ Лукьянов—губернатор здешний—с женой из-за нее развелся. Днюет и ночует у нее. Да, что там—у нее еще сорок человек и все друзья-приятели. Ты понимаешь—в ней это всегда было. Самая современная женщина—*femme publique*—принадлежит всем и никому в частности. Какое дельце обтяпать—иди к ней, живо обмозгует.

Только не даром—даром она не любит... Хочешь, я тебя к ней сведу? Ты ведь ее старый друг, тебя-то она, наверное, помнит...

Бобров не раз и до того слышал имя какой-то Марьи Семеновны или Марьи Николаевны, о которой рассказывали в подобных же приблизительно выражениях, но он никогда не решился бы отождествить образ этой женщины с полузабытым образом Мусы. А теперь неожиданно оба эти образа соединились в один и, что странно, взаимно освещали и дополняли друг друга.

«Большое лицо!»

Муся, та самая Муся, которой когда-то он пренебрег,—большое лицо! Придешь к ней, а она еще по головке погладит: «Пап-мальчик, старайся».

— Нет, не хочу,—ответил Бобров и, чтобы переменить разговор:—О каких это ты девочках говорил?

— Я и не отпираюсь. Приходи сегодня в десять—все там будут. Покажу. Техникум—бывшая наша гимназия. Помнишь?

Юрий Степанович не пожелал выслушивать, что именно вздумается вспомнить из времен его гимназической жизни старому товарищу и другу беспечального, как говорится, детства.

— До свиданья,—оборвал он:—я спешу.

— Буду ждать—смотри, не обманывай...

Изо всех многочисленных соблазнов, коими враг стремится нарушить покой слабых сынов земли,—не есть ли первый и самый сильный—любовь? Что может быть сильнее соблазна вновь и вновь переживать томление и бред первых влюбленностей и разлук? Со стороны Алафертова упоминание о первой любви было самым ловким и самым обдуманым шагом, на пути к овладению дружбой восходящей звезды городского горизонта, каким он, вполне справедливо, считал Боброва.

Только полчаса тому думал Бобров о новом, задуманном им городе, только-что не терпелось ему как можно скорее видеть готовый, задерживаемый по неторопливости архитектора план, только-что торопил он и архитектора и медлительное время, мешавшее видеть мечту воплощенной,—и вот уже другие мысли, вот уже другие мечты заполнили нашего героя.

О чем же, спросите вы, он мечтал? Кого видел он в этих мечтах? Незнакомку, Прекрасную Даму?

— Романтика, мещанство, предрассудок.

Времена Незнакомки и Прекрасных Дам безвозвратно прошли. Бесплотная незнакомка служит кассиршей в нарпите, Прекрасная Дама продает на углу шоколад, первое свидание—цена билета в кино, за первым поцелуем—не райское

блаженство, а гинекологическая лечебница или родильный приют. Цветок любви, выражаясь словами старинных поэтов, не амброзией и нектаром благоухает,—он пахнет пеленками, чадом подгорелых котлет, хлороформом, протухшей, испорченной кровью.

О чем теперь можно мечтать?

Свобода от затуманивающей сознание романтики, свобода от чувства, свобода от обязанностей, без романтических мук и без будничных неприятностей—легкая любовь—вот о чем разрешается ныне мечтать.

А ведь женщина стремится связать, женщина стремится сделать из тебя, свободного и независимого человека, своего мужа, она тянет тебя во всепоглощающую тину мещанства: только оступись, и ты уже поглощен этой тиной.

Но, может быть, есть и другие женщины?

Да, конечно, есть. И разве не столь же законно мечтать о такой женщине и о такой любви, как прежде мечтали о Прекрасной Даме.

— А что если это—она?

Кто она? Знакомая ли с давних пор Муся, или другая—незнакомая, из того цветника, что обещал показать Алафергов—все равно, коль томит и волнует предчувствие встречи, коль голова полна тем туманом, который приходится, как это ни странно, все-таки называть любовью.

· Долго не раздумывая, Бобров принял предложение Алафертова и в указанное время торопился быть в указанном его соблазнителем месте.

#### IV

Мне дали имя—Анна,  
Сладчайшее для губ земных и слуха.

*А. Ахматова.*

· То была обыкновенная студенческая вечеринка. Устраиваются они теперь, как и прежде, под каким-либо благовидным предлогом, начинаются с доклада, отмечающего особое значение того дня, которому выпала честь стать предлогом для вечеринки, затем следует концертное отделение, где выступают артисты—все равно профессионалы или свои самодеятельные, так сказать, музыканты, певцы и чтецы, а заканчиваются отнюдь не танцами, которые строго осуждены новой морально, как мещанский пережиток, а играми, очень похожими на те же самые танцы.

Наши друзья пришли в тот момент, когда концертная часть кончилась, спешно выносились из залы скамьи, чтобы освободить место для второй неофициальной части, а участники вечера длинным коридором проходили в буфет за порцией чая и пирожного.

— Смотри, сколько их,—шепнул Алафертов и проглотил неуместно накопившуюся слюну:— выбирай любую...

— Я вовсе не собираюсь обзаводиться семейством,—ответил Бобров.

— Где ты был—семейство! Теперь у нас просто—выбирай и... Небось, каждая по четыре аборта...

Бобров поморщился. Несмотря на то, что его взгляды мало чем отличались от только-что высказанных его товарищем, но, может быть, сохранилось в нем нечто от отрицаемых пережитков, и грубое замечание Алафертова не могло не покорибить его.

— Какие ты гадости говоришь!

— Вот и видно, что интеллигент,—ответил Алафертов.—Настоящий пролетарий к этому просто относится.

Почему вздумалось щеголять Алафертову своим пролетарством, довольно-таки к тому же сомнительного качества, но такова сила слов, что Боброву стало неловко от проявленной им слабости. Неизвестно, почему малейший оттенок романтизма в отношениях к женщинам считается в известных кругах достаточным основанием для обвинения в презираемой всеми интеллигентщине. И потому не диво, что Бобров смутился и, приняв вид знатока живого товара, с самой непри-

нужденной беззастенчивостью стал рассматривать «цветник», собранный со всей губернии.

Девушки проходили мимо него, раскрасневшиеся и нарумяненные, с притворной улыбкой на губах и искренне веселые, томные и меланхолические—и наоборот—живые, беззаботные и озабоченные завтрашним ли экзаменом, вчерашней ли изменой и влюбленностью.

Они проходили мимо—черноглазые брюнетки со смуглыми точеными лицами, с завитушками, опущенными на виски, шатенки со вздернутыми, покрытыми веснушками носиками и карими смеющимися глазами, пухлые, румяные блондинки. Глаза голубые, глаза зеленые, глаза щелевидные китайские, круглые выпуклые, как бы испуганные глаза, глаза смеющиеся и грустные.

— А ты посмотри, какие ножки!—сказал Алафертов.

Бобров смутился.

«А ведь он прав... Я раньше всего смотрю на глаза». И поспешил исправить ошибку: вот и ножки—в виде ли строгой вазочки античных очертаний, в виде ли неуклюжей бутылки, тонкие и пухлые, в туфлях, ботинках, в серых, черных, телесного цвета чулках.

— А вот еще посмотри!—нашептывал Алафертов:—вот, у двери! Да ты не туда смотришь—вот!

У двери при входе в зал сидела зеленоглазая шатенка и смеялась, разговаривая с подругой и попыхивая папирсой. Низко остриженные волосы, некоторая, так идущая к папирсе, небрежность в костюме, манера закладывать ногу за ногу—все обличало в этой шатенке истинную дочь современности, так что при первом же взгляде на нее Боброву вспомнились алафертовские слова:

— Каждая небось по четыре аборта...

Более внимательный наблюдатель разглядел бы за небрежным костюмом и за весело попыхивающей папирсой глубину ее зеленоватых глаз, мягкость и женственность нарочито грубых движений.

— Ножки-то, ножки—смотри,—искусал Алафертов.—Что, зацепила? Такая сердцеедка—не уступит московским. Ну, смотри, смелее... Благоговляю!..

Еще от памятной победы на бревне Бобров тайне относился к Алафертову с некоторым уважением и даже побанывался его. Если сейчас на глазах у него разводил «фигли-мигли»—выражение того же Алафертова,—то можно навсегда уронить свою репутацию в глазах старого товарища.

Бобров закурил папирсу, чуть-чуть залохматил гладко причесанные волосы. Уменье не быть самим собой пригodiлось ему:

— Можно к вам присесть,—развязно сказал он и, не дожидаясь ответа, примостился на скамейке рядом с заинтересовавшей его девушкой.

— Место свободное—не гонят,—ответила она и, набрав полную грудь табачного дыма, пахнула им прямо в лицо Боброву и добавила:—Если не боитесь задохнуться.

А минуту спустя—подруге:

— Наша шпана в буфет удрала. Пойдем и мы пошамаем...

Эти слова, сказанные на том языке, который считается среди некоторой части нашей молодежи верхом приличий и благовоспитанности и полный словарь которого, кстати сказать, недавно заботливо издан управлением уголовного розыска республики под скромным названием «блатная музыка», окончательно убедили Боброва, что тут стесняться или вернее—«барахолиться»—нечего, и он, вставая вслед за подругами, сказал:

— И я с вами пойду... пошамаю...

Последнее слово он выдал с большим трудом, но девушки не обратили на это внимания.

Знакомство, таким образом, состоялось. Разве нужно непременно, чтобы кто-то посторонний назвал твою фамилию, твое социальное положение, сколько тебе лет и каково твое отношение к воинской повинности? Знакомство завязывается

в разговоре, знакомство скрепляется в буфете, знакомство, наконец, упрочивается во время игр, заменивших злополучные танцы, знакомство окончательно утверждается, если пойдешь провожать свою новую знакомую до ее дома на Гребешке—кстати сказать, неподалеку от Грабиловки, где живет наш герой.

Бобров без посторонней помощи узнал, что его новую знакомую зовут Нюрой, что она этой же весной оканчивает педтехникум, что она занята общественной работой, что любовь—буржуазный предрассудок, что детей должно воспитывать государство и что если она захочет иметь ребенка, то ни у кого не спросит позволения, и что она не ощущает полового влечения ни к кому в частности.

— Это мало интересует меня—общественная работа заставляет забывать о таких глупостях...

Последнее замечание растравило Боброва.

— Ага—ты так! Ну ладно же!

Он чувствовал, что понравился Нюре: может быть, потому, что он был старше, чем ее товарищи, которых она скромно называла—«огольцами», может быть, потому, что успел ее познакомиться со своими планами и предположениями, может быть, потому, что пустил в ход все известные ему анекдоты и все мысли, вычитанные из самых последних брошюр,—она оказывала ему ви-

димые знаки внимания и не без удовольствия узнала, что им по дороге.

В кепке и в верхней одежде, смахивающей на двубортную тужурку, Нюра со своими стриженными кудрями и папироской казалась мальчишкой— очаровательным шалуном и забиякой—всеобщим любимцем, которому ни в чем нет запрета. Бобров испытывал рядом с ней то, что сам он называл здоровой чувственностью, и не раз пытался незаметно коснуться ее груди, крепко прижимая к себе ее руку. Нюра продолжала говорить о своей работе, об экзаменах, о студенческом кооперативе и комсомоле, не обращая внимания на явное ухаживание Боброва.

— Что ж она—ледяная?

У калитки они задержались. Подавая ему руку, она спросила:

— Мы больше не встретимся?

Вместо ответа Бобров крепко прижал ее к палисаднику и поцеловал прямо в губы. Она засмеялась, вырвалась из его рук и убежала.

Всю дорогу потом его не оставляло радостное щемящее возбуждение. Оно не прошло и утром, когда, едва раскрыв глаза, он увидел и низкий потолок своего убежища, и покрытые паутиной углы, и слабое солнце, пробивающееся через выходящее во двор окно, и разбросанные в беспорядке предметы его ежедневного обихода.

И даже, когда он по обыкновению явился в невзрачное пока помещение строительного кооператива, приютившегося в уголке фабричной конторы, и, когда его соратник по правлению—Метчиков, неуклюжий и добродушный ткач, с усиленно разраставшимися усами, делавшими его похожим на унтер-офицера старой армии, каким он, кстати сказать, и был когда-то, спросил, имея в виду вчерашнюю поездку с архитектором:

— Ну, как? Что там?—Боброва так и подмывало ответить:

— Прекрасно. Вот это девушка, так девушка!

Но вместо того, поневоле, пришлось сказать:

— Отложить придется. Архитектор уверяет, что не так-то легко составить план.

-- Вот ерунда — план, — ответил Метчиков.— Свяжешься с этими спецами. Тут надо действовать—а он—план!

Вся полная здоровой жизнедеятельности фигура Метчикова при этом выражала явное нетерпение.

— Что в самом деле тянуть? Строить, так строить! Эх, времена не те!

— Да, не те времена,—согласился и Бобров.

И оба они пожалели о том времени, когда всякое дело было простым и легким, когда можно было ввалиться в кабинет председателя губисполкома и прямо заявить:

— Давай строить.

И постройка была бы решена. Впрочем они забыли одно—что в то время ни у кого и мысли не могло возникнуть о каких бы то ни было постройках.

\* \* \*

Вечером Бобров поймал себя на том, что ходит по Гребешку, все время возвращаясь к одному и тому же домику, который ото всех прочих таких же домиков, трехкоонных и с неизменной геранью на окнах, отличался разве тем, что от него пахло кожей и у калитки висела проржавленная от времени вывеска «Сапожный мастер». Самая улица тоже была мало приспособлена для гулянья—ни единого деревца, ни чего-либо похожего на тротуар: гораздо лучше было бы прогуляться по набережной, подышать там свежим речным воздухом, послушать веселый говор праздной отдыхающей толпы.

Но он скоро понял, почему предпочел для прогулки именно это место. Из домика с вывеской «сапожный мастер» вышла Нюра в голубой кофточке, сшитой на манер мужской косоворотки, и с неизменной папироской.

— Что? Ждешь?—просто спросила она:—Если нечего делать—пойдем на набережную.

Но на набережную они не пошли. Невдалеке оказалось место, более подходящее для прогулок: это было кладбище, которым оканчивался Гребешок. И, когда там, прижимая Нюру к решетчатой ограде, Бобров опять пытался поцеловать ее— она не вырвалась и только прошептала:

— Ах, какой ты гадкий мальчишка!

\* \* \*

Покамест Юрий Степанович предавался радостям любви, так неожиданно нарушившим мирное течение его жизни, месяц, назначенный архитектором для составления плана и сметы, прошел. Архитектор этим временем возился на пустыре, ставил вешки, производил какие-то раскопки, растирал на ладонях кусочки земли, добытой из глубоких слоев почвы, неодобрительно при этом покачивая головою, и нимало не удивлялся тому, что Юрий Степанович, обычно такой нетерпеливый, не торопит и не беспокоит его. Работа эта увлекала архитектора, он видел в ней, может быть, последнее и самое главное дело своей жизни и к такому делу не мог относиться легкомысленно. Закончив работу, он в тот же вечер отправился к Боброву, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, и был очень удивлен, не застав его дома.

Чтобы не терять времени на вторичную беспо-

лезную ходьбу, он решил дождаться Боброва и кое-как поместился в малюсенькой комнатке, а наскучив ожиданием, достал из кармана планы и сметы и принялся за вычисления. Человек, предоставленный полному одиночеству, имеет вообще довольно-таки страшный вид—тем более странен был в одиночестве Галактион Анемподистович. Вычисляя и соображая, он разговаривал сам с собою, иногда привставал, иногда бессмысленно бродил глазами по потолку, иногда шурился, иногда лукаво улыбался. Он не заметил даже, что все допустимые сроки давно прошли, а хозяина нет и нет. Но он отлично заметил, что Юрий Степанович вернулся в странном состоянии, одновременно и взволнованный и возбужденный и безмятежно спокойный. Увидав архитектора, он смутился; поспешил принять вид человека, заседавшего на деловом заседании, но обмануть архитектора не удалось.

— Что? Увлекаетесь, молодой человек? Нехорошо, нехорошо... Надо бы сначала дело закончить...

Бобров выразил готовность закончить дело хоть сейчас, но Галактион Анемподистович не поверил.

— Не шутки шутим,—строго напомнил он,—надо такому делу всего себя отдать, а вы что?

Бобров вообще не был настроен обижаться на

что бы то ни было, тем более не обиделся на грубое замечание товарища по работе.

— Я не шучу. Чем же мне это помешает?

— Он еще спрашивает—чем!

Галактион Анемподистович еще раз сурово посмотрел на Боброва, словно проверяя, способен ли он по-настоящему, серьезно отнестись к делу, и потом уже развернул бумагу и показал готовый план будущего городка.

— Сделали? Наконец!—обрадовался Бобров.

— Я-то сделал, а вот вы, Юрий Степаныч,—ответил архитектор и укоризненно покачал головой.

Бобров не слушал,—он с радостью схватился за долгожданный план и принялся рассматривать.

С невероятной тщательностью были обозначены на этом плане не только улицы или площади, но и каждый отдельный дом и каждый палисадник, каждое деревцо, каждый столбик на тротуаре и каждый фонарь,—не хватало только, чтобы было обозначено и народонаселение. Но чем больше он вглядывался в план, тем больше и больше радость эта сменялась удивлением и недоумением.

— Позвольте,—что ж это такое?—спросил он.

— Как что?

— Так ведь улицы-то... кривые!

Если бы мы с вами, читатель, посмотрели на этот план, то и мы не смогли бы сдержать удивле-

ния и недоумения. Так долго, с такой серьезностью и тщательностью разрабатывавшийся, он представлял странное зрелище: словно не чертежник с рейсфедером прошелся по белому листу бумаги, а выпущенная из черныльницы муха, торкаясь туда и сюда, наляпала на нем эти бесчисленные улицы и улочки, переулки и даже тупики, прихотливо изогнутые, то широкие, то узкие, бороздившие вразброд всю территорию будущего городка. Только одна центральная площадь, отодвинутая от реки на большее, чем, казалось бы, надо было, расстояние, да главный проспект, украшенный широкой аллеей, удовлетворили склонный к симметрии и прямолинейности вкус. Боброву этот план покася не просто плохим планом. Этот план возмутил Боброва.

— Я не понимаю, что вы тут наделали!

Но архитектор был возмущен этим замечанием еще больше, чем Юрий Степанович его планом.

— А не понимаете, так берите, как оно есть!— уязвил он:— Значит, люди больше вашего понимают.

Неудовлетворившись этим язвительным замечанием, он попытался доказать Боброву неизбежность именно такого плана.

— Течение ветров,— так объяснял он,— имеет в нашем крае северо-восточное направление. Мест-

ность открытая и высокая,—и, следовательно, просторна ветрам. Прямые улицы потому нерациональны, что открывают всю местность действию этих холодных ветров. Да и что в них красивого, в прямых улицах! Ни одного уютного уголка! Проходной двор, а не город!

Каждую особенность плана он защищал, ссылаясь то на условие почвы, то на профиль местности, то на какие-нибудь другие причины.

— Смотрите живописность какая! Вы представьте себе, что по этому плану построено—сто лет переделывать не надо. А удобство! Все рядом...

Первое попавшееся возражение со стороны Боброва:

— Так ведь этот план похож на план нашего города. Такой же нелепый!—не произвело надлежащего действия.

— Что же вы думаете, что люди, которые наш город строили, глупее вашего были? Не скажите. Да сройте вы хоть сегодня весь город до основания, а будете строить, лучшего не найдете, как весь план восстановить. Ведь он тринадцать веков выработывался. Город на памяти историков десять раз выгорал,—а план изменился? Нет. Разве улицы немножко расширили,—ну уж это сами понимаете,—трамваев наши предки предвидеть не могли...

Галактион Анемподистович достал из кармана план города и развернул его перед глазами Боброва.

— Вот посмотрите и вдумайтесь: на этом нелепом плане учиться надо. Какие основные элементы местности: река, вторая река,—значит, две набережных. Набережные поневоле кривые,—неизбежность. К реке нужно спускаться за водой— вот вам четыре спуска. Овраг. Базар. Дорога в один соседний город,—дорога в другой соседний город. Мост—прежде тут был брод. Пристань— место достаточно глубокое, чтобы не сесть на мель. В соответствии с этими элементами и план. Возьмем первое попавшееся место— вот здесь. Дайте циркуль. Как вы отсюда попадете на базар? Как вы спуститесь к реке за водой? Вот вам две улицы,—обратите внимание,—кратчайший путь. Кривые? Так ведь тут же холмы!

— А все-таки новые города строятся по прямым линиям. Возьмите Петербург.

— Петербург, — возмутился архитектор, — нет ничего возмутительнее Васильевского острова. Куда ни пойдешь— все угол делаешь. И пустынно и вечный сквозняк...

Переспорить архитектора не было возможности, да Бобров и не пытался, зная по опыту, что споры ни к чему не приведут. Последним и самым резонным возражением его было:

— Такого плана нам никто не утвердит.

— Тут уж не наша вина. Подчинимся.

— А смета готова?

Еще полчаса на разговоры о смете, о дальнейших действиях, и архитектор ушел от Боброва, всецело предоставив ему заботу о воплощении выработанного им проекта.

Бобров на другой же день энергично принялся за работу.

## V

Если ты пришел к занятому человеку—  
скажи, в чем дело, и уходи.

*Канцелярская истина.*

Общее собрание строительного кооператива было пустой формальностью: очень несложно доложить, что проект постройки нового городка разработан, что план согласован с губернским инженером, что строить предполагается на том берегу реки, что с фабриками новый городок будет связан мостом, что на это дело потребуются, наконец, такие-то и такие-то миллионы, которых нет ни у правления, ни у общего собрания, если бы все члены правления и все члены общего собрания распродали все свое имущество, что, наконец, эти миллионы надо исходатайствовать у правительства. Мнение некоторых скептиков, указывавших,

что теперь не время разрабатывать широкие и неосуществимые потому планы, что следовало бы построить хоть десяток—другой новых домов на Грабилровке и отремонтировать сотню-другую старых, очень несложно было оспорить, опираясь главным образом на ту истину, что чем больше запросишь, тем больше и дадут и потому надо запрашивать больше. Если к этому прибавить, что изверившиеся рабочие не особенно горячо относились ко всему предприятию, считая по прежнему опыту, что разговоры так и кончатся разговорами, то очень легко было достигнуть желательного результата. Самым трудным делом оказалось—провести план через всевозможные инстанции и, в завершение всего, получить необходимую ссуду.

Только теперь Бобров узнал, что в небольшом сравнительно городе есть много лиц, от которых зависит прямо или косвенно выполнение его плана: заведующие и их заместители, председатели комиссий и подкомиссий, управляющие делами и просто, бездельники, их секретари и секретари их секретарей, важные лица и люди во всех отношениях безличные—всех предстояло обойти и со всеми так или иначе сговориться.

— На бумажки не полагайтесь,—предупреждал архитектор,—такое дело можно решить, только поговорив лично. Личные отношения много значат..

Если не заладится, заходите ко мне—посоветуемся. Ну, начинайте...

Метчиков, увидев только список учреждений, которые предстояло обойти, руками развел.

— Ну это, знаешь, того! Форменная чертовщина!

— Не так страшно—работу поделим,—успокоил его Бобров.

— Ты мне что-нибудь поживее дай—а то в бумагах утонешь.

— Ничего, выплывем,—подбодрил архитектор.

Но несмотря на явные в будущем трудности—Бобров был доволен и поспешил поделиться своей радостью с Нюрой.

— Только смотри, не забывай меня,—сказала она.—А впрочем дело прежде всего,—добавила она, серьезно поджимая губы. Это я так. Если я тебя не буду видеть, мне будет скучно. Я тебя за это время так...

Она хотела сказать—полюбила, но не решилась:

— Я за это время так привыкла к тебе.

\* \* \*

Тонкое и трудное дело обращаться с чиновниками, а особенно с советскими чиновниками, так как эта последняя категория людей включает в себя самые разнообразные элементы.

Одному надо излагать ваше дело, пересыпая речь цитатами из Ленина или Бухарина, или Рыкова, уснащая речь ссылками на постановления цека, вещека, цекака и вещекака, упоминая при этом, конечно, о неизбежном торжестве мировой революции, чтобы в такт вашей речи покачивал головой, подобно лошади, жующей овес, и, в конце концов, заявил, что дачный вопрос надо поставить на обсуждение. Другому необходимо ясно и точно в продолжение не более чем трех минут кратко изложить самую суть дела и в течение остальных двух минут выслушать лаконический ответ:

— Не понял. Повторите еще раз, только пожалуйста покороче.

На третьего, наконец, надо налететь подобно вихрю, кричать, употребляя при том такие слова, которые и сомнений в собеседнике не оставят относительно вашего пролетарского происхождения, хлопнуть его по плечу, называть с первой встречи «ты» и все это лишь для того, чтобы окончательно убедить его в правоте не вашего, конечно, а его собственного мнения. Нужна необыкновенная находчивость, нужно уметь с первого взгляда угадать, с кем вы имеете дело—а всем этим Юрий Степанович если и не обладал, то скоро научился обладать в совершенстве. Первым ли, вторым ли, третьим ли способом он добился от некоторых из начальствующих и распоря-

жающихся лиц поддержки или просто заявления о неимении, как говорится, препятствий или только обещания поддержать и похлопотать. Но что важнее всего—он узнал, от кого главным образом зависит разрешение интересующего его дела.

Мы не будем утомлять читателя повторением до бесконечности знакомой каждому истории о хождениях и мытарствах, перед которыми знаменитое путешествие Данта кажется легкой загородной прогулкой. Достаточно отметить лишь наиболее важные и решающие пункты этих хождений и мытарств.

Прежде всего—Герман Семенович Ратцель.

Сухой, с жесткими рыжеватыми, особенно пышно разросшимися в углах губ и оттуда звездообразно торчащими усами, с глазами, запавшими за сухие угловатые выступы, красными оттопыренными ушами, и в довершение всего стриженный ежиком человек, чертами лица похожий на людей, которых изображают кубисты,—так отчетливо выступали все плоскости, так подчеркнуто прямолинейны движения маленькой угловатой фигуры.

— Чем могу служить,—спросил он, приподнимаясь, но не подавая руки и движением приглашая Юрия Степановича сесть. Голос у него оказался то же сухим и твердым, словно он не разговаривал, а считал на счетах, торопливо отбрасывая костяшки.

Бобров изложил ему суть дела—длинно, но не так, чтобы его речь можно было принять за краткий обзор истории означенного вопроса—он пожалуй коротко изложил суть дела, но не в течение трех минут, и при том был сух и точен, как арифмометр, больше напирая на цифры, рисующие тяжелое положение рабочих, чем на яркие образы жилищной нужды или на цитаты из учителей социализма.

Когда он кончил и внимательно всмотрелся в угловатые черты собеседника, ему показалось, что речь произвела хорошее впечатление, хотя прямолинейная выразительность товарища Ратцеля не была настолько чуткой, чтобы это впечатление отразить.

— Так,—щелкнула первая костяшка:—вы хотите строить **новый** город. Это можно только приветствовать.

Бобров обрадовался было, думая, что нашел союзника—но радость оказалась преждевременной.

— Но вы не доказали нам, почему подобное предприятие надо провести именно в нашем городе, а не в каком-либо другом. Мы не можем нарушить общего плана, а этим планом усиленное развертывание строительства в нашем городе не предусмотрено. Такое дело надо начинать, может быть, с центра, а потом уже перейти к провинции, начиная с городов более значительных, чем наш...

Далее следовали цифры, цифры, цифры...

— Вообще я полагаю, что подобное дело требует обсуждения во всероссийском масштабе и только после обсуждения можно будет приступить к его выполнению.

— Позвольте,—возразил Бобров, угадывая образ течения мыслей своего собеседника:—может быть, мы подойдем к этому вопросу как к общегубернскому и решим его в губернском масштабе.

— Возьмем и губернский масштаб,—не останавливался Ратцель.—Нам и здесь необходимо прежде всего выяснить, где и в каком именно пункте и в какой степени силен жилищный кризис. Может быть, имеются города, которые больше нашего нуждаются в специальных рабочих поселках, оборудованных по последнему слову техники. А главное—вы не переубедили меня, что вопрос можно не согласовывать со всесоюзной строительной программой, так как отпущенные на нашу губернию средства не дадут нам возможности развернуть работу так широко, как вы задумали... требовать же дополнительных кредитов мы можем только тогда...

Мы не будем следовать в точности за мыслями и возражениями товарища Ратцеля. Скажем коротко: не отрицая желательности проведения широкой строительной программы, он предлагал

произвести подробное статистическое и экономическое обследование губернии и выяснить наиболее уязвимые в жилищном отношении пункты, составить план постепенной застройки на ряд лет, согласовать план с центром, установить очередность выполнения, а затем назначить специальную комиссию для проведения этого плана в жизнь, которая, конечно, примет во внимание и желания той организации, интересы которой представляет товарищ Бобров.

Чем дальше слушал Юрий Степанович рассуждения Ратцеля, тем больше и больше погружался в тягостное раздумье. Не меньше чем десять лет! Что произойдет за эти десять лет? А ему надо сейчас, сегодня, завтра.

— Мы похороним дело,—возразил он:—надо воспользоваться энтузиазмом, к которым горит рабочий класс,—козырнул он неопровержимым для многих аргументом. Но этот аргумент на Ратцеля действия не оказал. Только усы его зашевелились на подобие улыбки, сквозь которую можно было видеть его более чем ироническое отношение к такого рода доказательствам.

— Не похороним, а введем планомерность,—мягко, насколько было возможно это для такого жесткого человека, возразил он.—А вы на что опираетесь? На то, что вам хочется это сделать? Скажем откровенно—на то, что вы чувствуете в

себе желание и энергию начать это дело? Мы не можем опираться на ваше желание, несмотря на все уважение к вам...

— Убедительно говорит—чорт возьми,—думал Бобров: все возражения, заготовленные заранее, заранее же разбивались о сопротивление логического аппарата товарища Ратцеля. Составленный из прямолинейных плоскостей и углов, как хорошая машина, товарищ Ратцель работал так же прямолинейно и точно, как машина. Все доводы, опирающиеся не на цифру, не на силлогизм, все доводы от чувства или авторитета не действовали на Ратцеля.

— У вас есть заявление? Смета? Вот это хорошо!

И взяв от Боброва бумагу:

— Подождите—недельки через две мы поставим этот вопрос в президиуме губисполкома. Я дам свое заключение...

Прямая линия—товарищ Ратцель поднимается с кресла—биссектриса—рука, протянутая Ратцелем и делящая угол его вежливо согнутой фигуры пополам, жесткие усы шевелятся в вежливой улыбке—и Бобров обезкураженный, полный сомнений идет дальше.

Следующее лицо, к которому пришлось обратиться Боброву, трудно даже назвать лицом, до такой степени обросло оно бородою. Борода, не

довольствуясь положением, предназначенным ей мудрой природой, постаралась захватить такие части, которым это мужественное украшение казалось не было свойственно: она захватила и щеки и шею,—и даже брови казались продолжением бороды. Лицо, обладающее, или вернее захваченное этой бородой, сидело в кресле и время от времени похлебывало с блюдечка чай, отфыркиваясь, то ли от высокой температуры напитка, то ли от удовольствия.

Увидев Боброва, оно повернуло к нему огромную бороду, и при этом Бобров мог заметить в спрятанных под длинными бровями глазах оттенок некоторой остроты и даже ехидства.

— А! Строитель? Так, так...—сказал обладатель бороды таким тоном, к которому нельзя было придаться в смысле корректности, но в котором чуткий наблюдатель не мог не уловить недоверия, полупрезрения и еле уловимого нахальства и в то же время чего-то ласково дружественного, даже покровительственного.

Умеют же некоторые люди сказать—ох как умеют!

«Такого человека плохо иметь в числе врагов»—сообразил Бобров и постарался не заметить оттенка ехидства и презрения. Он поспешил принять вид молодого человека, с удовольствием при-

мающего покровительство умудренного опытом старика.

Бобров начал излагать суть дела—а тот внимательно слушал, устремив на Боброва еще более внимательный взгляд, под действием которого Бобров, не закончив своей речи, умолк.

«Дурак я... Все пропало».

Но оказалось, что ничего еще не пропало. Борода допил чай, перевернул стакан, положил на донышко огрызок сахара.

— Так что же,—спросил он, не скрывая уже презрения и ехидства:—ты думаешь, ничего из этого дела не выйдет?

Бобров был окончательно уничтожен. Он собрал все силы, чтобы поднять голову, взглянуть открыто и смело в глаза бородатому «лицу» и гордым уверенным тоном ответить:

— Я к вам не за этим пришел, товарищ Ерофеев. Ерофеев засмеялся.

-- Я ведь пошутил, дорогой мой, пошутил. Почему же не удастся? Наверное, удастся! Шесть лет я на этом месте сижу и все знаю. Не такие вздорные дела удавались. Только у вас смелости нет. Скуксились сразу. Куда ж вы после этого годитесь? Да вам свиного хлева не выстроить— вот что! Нельзя, молодой человек, нельзя...

— Вовсе не скуксил, — ответил Бобров и тотчас же почувствовал, что отвечать не надо было.

Оборвать разговор и уйти. Но как оборвать? А дело?

Ерофеев приподнялся с необычной для тучного человека легкостью, подошел к двери, крикнул курьера:

— Палладия Ефимовича позовите!

И снова усевшись в кресло:

— Ну так вот, молодой человек, можете мне и не объяснять. Мы вас поддержим. Почему, вы спросите, поддержим? Потому что понравились вы мне,—и все тут. Только имейте в виду—даром я ничего не делаю... Дорого вам это будет стоить, ох как дорого!

Ерофеев лицемерно вздохнул.

«Шутка или шантаж»—подумал Бобров. Но казалось, ни одно движение мысли не ускользало от Ерофеева.

— Конечно, я шучу. А вот сейчас мы с умным человеком поговорим. Погодите. Может быть, вам чайку? У меня всегда чай, что же делать, привычка.

И—уже без иронии и ехидства:

— Давно уж никакого хорошего дела не было. Я, признаться, не большевик. Староват для этого. А люблю всякие такие штуки. Ну-ка ты—заново строить, на новом месте! Петр Великий, да и только... Вот еще что нам на это Палладий Ефимович скажет—умнейший, я вам скажу, человек,

прямо Соломон по разуму, и что самое главное—практик. А ведь мы с вами мечтатели, Юрий—как вас по батюшке то? Юрий Степанович?

Дверь кабинета приоткрылась, и в узкую щелку пролез худощавый тонконогий человек, с длинной вьющейся книзу кольцами бородой, красноватыми веками и совершенно плешивым черепом.

— Познакомьтесь,—сказал Ерофеев:—Палладий Ефимович Мышь, моя правая рука. Юрий Степанович Бобров—знаменитый строитель.

Палладий Ефимович во время дальнейшего разговора не показался Боброву особенно умным человеком. Он, съезжившись, сидел на стуле и больше поддакивал и покашливал, чем говорил. Боброву даже непонятно было, зачем приглашен сюда этот человек, напоминающий мелкого подрядчика или комиссионера, угодливый и, вероятно, лживый.

Разговор закончился репликой со стороны Ерофеева:

— Ну, что ж, действуйте, молодой человек. Почаще навещайте нас. Меня не будет—к Палладию Ефимовичу.

Палладий Ефимович молча поклонился.

Несмотря на внешний успех, Бобров ушел от бородатого человека еще более расстроенным и обескураженным, чем от логического Ратцеля.

Что он, действительно сочувствует или насмеяется? Поддержит или угробит все дело?

Галактион Анемподистович, к которому Бобров обратился за разъяснениями, думал другое:

— Ну, этот раз обещал — поддержит. Старый строитель. Он сам из подрядчиков — в свое время разорился на этом деле. Большой специалист!

— А кто такое Палладий Ефимович Мышь? Фамилия удивительная.

И эта фамилия архитектора отнюдь не удивила.

— Нужный человек. Практик. Привлечь необходимо.

— Вы и не представляете, как трудно теперь работать. Каждого человека надо заранее на учет взять.

Бобров не забыл спросить и о таинственном «дорого это будет стоить» — заключавшем как-будто намек о плате за поддержку. Архитектор ответил довольно-таки уклончиво:

— Что ж — между деловыми людьми всегда возможно. А ведь он сказал же, что пошутил. Пустяки.

Боброва этот ответ не убедил в том, что так говорить — пустяки.

От разговора с Ерофеевым все-таки остался весьма неприятный осадок.

## V

Chaque baron a sa fantaisie.

*Французская поговорка.*

Всяк по-своему с ума сходит.

*Русская пословица.*

Если возрасту юному свойственны некоторые увлечения, касаются ли они лыжного или конькобежного спорта, или женщин, или политики, или того и другого и третьего вместе—по возрасту зрелому свойственны некоторые привычки. Когда человеку переваливает за сорок лет, он как бы получает право иметь их: рюмочка водки перед обедом или стакан пива после обеда, две рюмки водки перед обедом или два стакана пива после обеда, виноградное вино или коньяк крепостью не свыше пятидесяти пяти градусов, неизлечимые болезни в области легких или сердца, невозможность работать иначе, как в теплой и хорошо притом проветренной комнате, пристрастие к местожительству и определенному месту службы. Иногда же им овладевает и какая-либо страсть, вовсе, казалось бы, ненужная ему, как человеку и советскому работнику, вплоть до страсти к лошадям, собакам, гравюрам и маркам, к календарным планам и научной организации труда.

Последняя привязанность одна из самых модных и потому наиболее опасна для окружающих.

Человек, одержимый микробами этой страсти, первым долгом печатает карточки с подробнымписанием тех работ, которые он должен произвести во все часы и минуты своего трудового дня, а если он заведует учреждением, то такие же карточки для каждого из сотрудников своего учреждения, меняет бланки и формы отчетности, меняет порядок прохождения дел, перебрасывает ежемесячно работников с места на место, меняет даже название учреждения, если оно не помещается на карточке установленной величины.

Трудно даже и установить, в какие формы может вылиться эта печальная болезнь нашего века, и в особенности странно то, что поражает она отнюдь не инженеров, связанных так или иначе с механическим производством, где подобные нововведения приносят весьма основательную пользу, а поражает людей, с механическим производством не связанных, и в первую очередь редакторов газет или заведующих отделами народного образования, как людей наиболее передовых и потому более подверженных новым веяниям.

В данном случае Юрию Степановичу пришлось иметь дело с редактором газеты.

Комиссии—комиссиями, доводы—доводами, но хорошая пресса—первое и необходимое условие успеха. Надо уговориться с редактором, чтобы

информация, касающаяся постройки, проходила без затруднений, чтобы статьи и письма, посвященные этому вопросу, печатались своевременно. Боброву по неопытности казалось, что стоит только забежать в редакцию, переговорить с кем надо—и все будет сделано, но оказалось, что эта простая вещь не так уж легко достижима. Он забежал в редакцию утром, по дороге в какое-то учреждение, даже попал в кабинет редактора, где за большим, покрытым рукописями столом сидел человек, выбритый в противоположность Ерофееву начисто, снявший не только усы и бороду, но даже и брови—так незаметно было это украшение, придающее выразительность человеческому лицу. Человек этот, не посмотрев на Боброва и не дав ему сказать ни одного слова, заявил:

— Некогда! Занят! Читайте расписание!

Бобров выскочил из кабинета и на двери увидел расписание. Время в этом расписании распределено было с точностью до одной минуты, при чем на прием посторонних посетителей оставлено ровно пятьдесят три. Минуты эти Бобров поспешил занести в блок-нот,—но, как оказалось потом, перепутал записи. Он пришел двумя минутами позже, чем вызвал сердитую реплику безбрового человека.

— Опоздали. Приходите завтра. Надо ценить чужое время.

И тотчас же принялся за остывший стакан чаю.

Бобров опять посмотрел на расписание и нашел, что стакан чая занимает в расписании подобающее ему место. Бобров попытался настаивать, но редактор был неумолим: он продолжал пить чай, обращая на заявления Боброва ровно столько же внимания, сколько прохожий обращает внимания на лай сидящей на цепи собаки. Пришлось отложить необходимейшее посещение еще на день, но и этим мытарства не кончились.

Сначала Боброву предложили заполнить анкетку, в которой он проставил имя свое и фамилию, и возраст, и служебное положение, и по какому делу приходил. Эту анкетку специальная секретарша положила в специальный же ящик, наподобие ящиков для больничных листков, а ему выдала маленькую анкетку синего цвета, с которой он и направился к редактору. Бобров успел заметить, что все бумаги, которые лежали перед редактором, были снабжены точно такими же анкетками, но разного цвета и формы. Тут же на столе лежало десятка два блок-нотов с отметками, для какого рода дел какой из блок-нотов употребляется.

— С этим каши не сваришь,—быстро оценил Бобров свое положение, но уходить было поздно. Поневоле пришлось говорить о деле. Редактор слушал, находясь все время в движении, делая

отметки то на одном, то на другом из блок-нотов. Выслушав Боброва, он оторвал от блок-нота листок и сказал:

— Обратитесь к заведующему хроникой.

Бобров бережно спрятал листок в карман.

-- А вы ничего не можете сказать?

— Товарищ, у меня есть другие посетители.

Боброву ничего не оставалось, как отправиться к заведующему хроникой. Но и там оказалось препятствие в виде такого же расписания часов занятий, как и у редактора.

— Завтра в час,—ответили ему.

Пришлось только пожалеть о напрасно потерянном времени: а сегодня еще надо было побывать в губисполкоме и застать прием у председателя исполкома товарища Лукьянова.

В губисполкоме опять неудача. Председатель оказался больным, и принимал посетителей секретарь, человек немногим старше Боброва, но зато в несколько раз важнее.

— Товарищ, будьте добры изложить дело. Я передам.

Бобров изложил суть своего дела, насколько это было нужно для краткого доклада председателю. Секретарь остался недоволен излишней краткостью и, может быть, несколько пренебрежительным тоном Боброва. Его секретарская сущность требовала к себе такого же отношения со

стороны посетителя, как и к патрону, в данном случае—как к председателю губисполкома. В сущности, ведь он то же самое, что председатель.

Он также может выслушать ваше дело.

— Будьте добры подробнее познакомить меня. Я не понял.

Бобров изложил свое дело несколько длиннее.

— Я переговорю с председателем. Я доложу.

Бобров попытался было найти поддержку в лице любознательного секретаря и спросил:

— А ваше собственное мнение. Как вы находите?

В ответ на эти слова секретарь только усмехнулся.

Плохо надо знать секретарскую сущность, чтобы задавать такие вопросы. Что он, секретарь, может ответить на излишне прямо поставленный вопрос? Что он не имеет собственного мнения. Это неверно. Он имеет собственное мнение и даже очень оригинальное мнение, но он не может высказать этого мнения вслух. Все, что он высказывает, так или иначе относится к лицу, которое он представляет, все, что он делает—делается как бы чужими руками. Каждое его движение насыщено мыслью:

-- Все это, конечно, страшная чепуха. Но ведь мне приказывают. Вы сами понимаете, что иначе

я не могу ни делать, ни говорить, ни думать. А я сам? О, если бы я сам!

Такие именно люди, собираясь по вечерам в более или менее уплотненных квартирах, перебивают косточки всего губернского начальства, не стесняются судить и осуждать самое цека, вещека, цекака и вещекака, всю политику и направление всей политики—это они же обивают пороги ячеек укомов и губкомов, стараясь всеми силами пролезть в партию, чтобы затем в качестве легальной оппозиции на вопрос:

— А ваше собственное мнение?—

потовно улыбнуться и даже развести руками, чтобы собеседник понял:

— Если бы я сам. То тогда, конечно... А теперь—вы знаете...

И вслух высказать мнение своего ближайшего начальства.

К таким не новой породы людям принадлежал и секретарь председателя губисполкома.

-- Я доложу,—повторил он.

Бобров понял, что этот человек никогда не будет его союзником,—а вдруг он окажется врагом,—и решил обставить посещение так, чтобы возможно неблагоприятному докладу секретаря был дан достаточно эффектный отпор, и с этой целью Бобров явился на прием не один, а вместе с Метчиковым, как представителем пролетариата

заречной стороны, которого председатель может быть скорее поймет и скорее поверит такому же, как и он, рабочему, хотя и другой, чем он, специальности.

Получилось нечто в роде депутации от рабочих,—а разве к ней можно было отнестись без искреннего желанья во всем пойти ей навстречу?

Стыдно признаться—но в кабинет председателя Бобров входил не без некоторого трепета, пережитка, может быть, дореволюционной поры, когда каждое важное лицо казалось простому смертному недоступным.

Но разве товарищ Лукьянов—бессменный, начиная с восемнадцатого года, председатель губисполкома—может быть назван лицом недоступным и недосыгаемым? Давно ли бродил он по городским улицам с мешком за плечами и топором за поясом в качестве плотника, ищущего работы? Давно ли бегал он по тому же городу, вооруженный двумя и даже тремя револьверами, арестовывая собственноручно буржуев, не внесших контрибуции, и контрреволюционеров? Многие помнят его и в качестве командира полка, а потом и начальника дивизии, заслуги которого увенчаны орденом Красного Знамени и отмечены летописью гражданской войны: разве тогда можно было его назвать недоступным?

Все это было недавно, но между тем недавним и сегодняшним днем время проложило глубокую

нестираемую черту. Вернувшись с фронта, товарищ Лукьянов снова был выбран председателем губисполкома и, втянувшись в новые условия работы, все меньше и меньше показывался на глаза обитателей города, выступая лишь на торжественных митингах и то лишь в самые торжественные дни, пользуясь в качестве средства передвижения только автомобилем, чем и заслужил репутацию человека мало доступного.

Впрочем, не будем его винить: губернаторский дом, личный секретарь, часы приема, словом все то, что полагается для человека, занимающего высший в губернии пост, помимо всех личных качеств делает человека недоступным, таким, в присутствии которого должно чувствовать некоторый дореволюционный трепет.

Председатель сидел за столом в позе человека, очень уставшего от множества неожиданно свалившихся на него дел. В первый раз увидев его вблизи, нельзя было связать с фигурой широкогрудого, тучного, что называется, раздобревшего человека представление об одном из бесстрашных вождей одной из наиболее победоносных дивизий.

У него сонное оплывшее лицо, сонные глаза: трудности для многих неизмеримо более легкие, чем трудности походной жизни, утомляли, изматывали его, и когда, изредка, глаза его разгорались,

он похож был на орла, которому отрезали крылья, посадили в клетку и откармливают на убой.

— Садитесь, товарищ. Я вас слушаю.

Бобров предоставил первое слово Метчикову.

— Мы к вам, товарищ Лукьянов, так сказать. Очень уж тяжело стало, жить негде, так сказать,—сбивчиво объяснял Метчиков, прибавляя к каждой фразе прицепившееся вдруг докучное слово.—У нас и планы есть и проекты, так сказать, только нужны деньги. Вы должны, так сказать, поддержать. Задыхаемся, товарищ Лукьянов.

Остальное объяснил Бобров. Он подробно рассказал историю дела, познакомил с проектом. Лукьянов слушал его с усталым безразличием и только по привычке покачивал в знак согласия или только понимания—головой.

— Хорошо, хорошо... Да, да...

Но когда Бобров кончил, он взглянул не на Боброва, а на Метчикова и спросил:

— А как вы, товарищ, полагаете, эти дома станут собственностью рабочих или нет.

У глаз его появились веселые морщинки. Бобров понял, что товарищ Лукьянов не собирается давать им прямого ответа, а предпочитает поговорить на общие темы. Юрий Степанович не успел еще сообразить, что надо на этот вопрос ответить, как Метчиков выпалил:

— Ну, конечно, в собственность. Ведь они свои деньги тратят!

— Вот видите,—возразил Лукьянов, опять-таки глядя только на Метчикова,—собственность. А с чем мы боролись? Обрастание, товарищ, обрастание. Я был революционером—и у меня только и было, что на мне.

— Но ведь мы боролись за лучшие условия жизни,—ответил вместо Метчикова Бобров.—Рабочий класс победил и должен воспользоваться плодами своей победы.

— Да, да, конечно,—устало подтвердил Лукьянов. Но это не было согласие—он только не возражал на банальную истину, которую нельзя оспаривать, но остался при своем мнении. Бобров придумал новый аргумент, могущий примирить две точки зрения: точку зрения рабочего-революционера, каким был Лукьянов,—и рабочего-обывателя,—но не успел произнести и первой заготовленной им фразы, как из-за двери высунулась голова секретаря, напоминавшего, что время товарища Лукьянова принадлежит не ему самому, а тому делу, которое он обязан выполнять. Там, вероятно, дожидался еще кто-нибудь, явившийся для личных переговоров, может быть—ожидали прибытия председателя члены какой-нибудь комиссии или подкомиссии, может быть—ждали его

партийные обязанности, может быть—просто бумаги, которые срочно требуется подписать.

— Оставьте ваши проекты, я посмотрю. Товарищ Ратцел обещал поставить на обсуждение? Очень хорошо—о чем же вы беспокоитесь, товарищи? В силу наших средств мы, конечно, окажем поддержку. Только посократиться, посократиться не мешает...

Выходя от председателя, Бобров сказал Метчкову:

-- С ним можно было сговориться, да мы не так подошли. Это ты все дело испортил!

.... Я испортил,—рассердился Метчиков.—Ему хорошо в таком дворце, а нам каково? То же еще скажет—собственность!

## VII

Раздень его и, наверно, отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки,—длиной в аршин...

*Ф. Достоевский.*

До совещания, на котором должен был рассматриваться вопрос о постройке, оставалось только четыре дня, но было ясно, что дело обречено на гибель. Хорошо, если план будет отклонен и вместо него не будет предложено ничего—тогда можно поднять шум, или, как теперь гово-

рят—«бузу», и добиться пересмотра, опираясь на явно выраженное недовольство рабочих. Но значительно хуже,—а это и было как раз наиболее возможным,—что победит точка зрения Ратцеля, что план будет принят с уничтожающей оговоркой: согласовать, увязать и проработать—и тогда он навеки погребен в канцеляриях и статистических управлениях, без всякой надежды в ближайшем будущем откопать его и снова поставить в порядок дня.

— Мы рассматриваем. Мы принимаем меры. Мы прорабатываем.

Год пройдет, два пройдет:

— Мы увязываем. Мы согласуем.

Расстроенный, изнервничавшийся и усталый Юрий Степанович пошел к архитектору, с которым он несколько дней не встречался. Если архитектор не найдет выхода и не поможет, то надо поставить крест над всем предприятием,—а одна мысль о подобной возможности убивала в нашем герое всю его не природную, а благоприобретенную энергию: нужно было, чтобы кто-то постоянно пополнял в нем запасы этой энергии, иначе он мог остановиться, как часы, в которых ослабла пружина.

Юрий Степанович в первый раз пришёл к архитектору,—Галактион Анемподистович никогда и не приглашал его к себе. В другое время и при

других обстоятельствах Юрию Степановичу было бы чрезвычайно интересно узнать, что архитектор живет в полуразвалившемся деревянном домике, на мезонине, что в мезонин ведет очень узкая и крутая лестница, недоступная дневному освещению и не имеющая освещения искусственного. В другое время Юрий Степанович обратил бы внимание и на то, что дверь, ведущая в комнату архитектора, слишком мала, и, вероятно, подумал бы, каким образом богатырская фигура архитектора пролезает сквозь эту дверь—но в тот момент Бобров вовсе не был настроен обращать внимание на мелочи и только злился, что такая, казалось бы, простая задача—добраться до архитектора и поговорить с ним—затруднена долгими розысками и медленным шествием по темной лестнице.

Небольшую, не свыше установленной нормы комнату архитектора занимал широкий письменный, он же чертежный, стол, заваленный книгами, брошюрами, техническими журналами, каталогами и планами. Сам Галактион Анемподистович полулежал на столе, вычерчивая или исправляя какой-то проект. Он по обыкновению разговаривал сам с собою, то шептал, то ворчал, то посмеивался, и даже не заметил прихода неожиданного гостя.

... Я к вам,—громко сказал Бобров.

Галактион Анемподистович вздрогнул, испуганно поглядел на посетителя, улыбнулся.

-- Заработался и не слышал.

Он по-простонародному засуетился, стараясь как можно лучше принять своего гостя.

— Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, я вас сейчас чайком угощу.

Бобров попытался стговориться тем, что очень занят, что он пришел по весьма важному делу, но Галактион Анемподистович не слушал.

— Важные дела, так их, значит, с кондачка решать надо, что ли. За чаем-то много способнее будет. У моего покойного батюшки такое правило было: если с кем по маловажному делу поговорить—квасок, поважнее—часок, а самое важное дело—водочка. Может быть, по важности вашего дела водочка полагается? Отыщем и водочку.

-- Я не знаю...

— Вы то не знаете, так я знаю. Нервы вы очень, ух как нервы. Разве с такими нервами можно дело делать. Спокойненько надо, потихоньку, да полегоньку, не торопясь. Дело не волк, в лес не убежит, как говорится. А вы все хотите—трах, трах—вот и готово. Этак расстреливать можно, а не города строить. Да что вы стоите-то, присаживайтесь!

Бобров осмотрел всю комнату, но никакого подобия стула не нашел.

— На кровать садитесь, стульев не держим, тесновато. Я и в новых квартирах планирую сейчас, чтобы поменьше стульев. Очень это удобно по деревенски—лавка вдоль стены. Лавку откроешь, а там всякое добро лежит,—что те сундук. Эх, теснота, теснота!

Планы были отодвинуты в сторону, и на стол поставлен графинчик.

— С петушком—старина матушка. Мы люди, извините, старые и старым дорожим. Вот кровать эта, на которой вы сидите сейчас,—тоже старина. Ей лет полсотни будет. Игнатий Мироныч строил—знаменитый столяр был здесь в свое время. Такой строитель, каких теперь не найдешь.

Разговаривая таким образом, Галактион Анемподистович достал селедку, аккуратно, не торопясь, снял с нее шкурку, отщипнув с хвоста, вынул косточку, распластал голову на тарелке, разрезал селедку на равные части, достал из шкафчика бутылочку масла, вынул пробку, вытер горлышко и полил селедку маслом, стараясь не вылить из бутылки больше, чем нужно, и потом опять, заткнув пробку, поставил бутылку обратно.

— Вы, небось, смотрите, какой я повар хороший? Меня и этому делу учили. Кто учил? Нужда учила. А теперь и нет нужды, а все сам

хозяйствую. Жену бы завести—плутовато улыбнувшись, добавил он, да староват я...

— Вы еще совсем молодой человек,—польстил Бобров.

Галактион Анемподистович обрадовался.

— Вот, вот, именно, молодой! Я тоже так думаю, а скажешь кому—не верят. Такой недоверчивый народ пошел. Ну, так проглотим порюмочке, а там и часек вскипит. Да вы не торопитесь закусывать—эх, молодежь, молодежь, и пить как следует не умеют. Вкус надо почувствовать, вот что! Выпей, минуточку подожди, потом селедку. Хорошо? А у вас все не так, не порядком, торопитесь куда-то, а жизнь прошла, вы ее и не раскусили как следует.

-- У меня дело,—заикнулся Бобров.

— Погодите, дойдем и до дела. Вторая, как говорится,—соколом. Ну-ка еще!

Пил и закусывал Галактион Анемподистович так, как, по свидетельству поэта, пили и ели наши далекие предки: нескоро, но зато с особенным вкусом и даже, можно сказать, с мистической глубиной. Глядя на то, как он отламывает кусок черного хлеба и как он кладет его в рот, казалось, что нет ничего на свете вкуснее черного хлеба с кусочком политой подсолнечным маслом астраханской селедки. Бобров, глядя на Галактиона Анемподистовича, не мог не заразиться его ап-

петитом, и после третьей рюмки ему стало казаться, что, действительно, дело не волк, в лес не убежит, что поговорить они еще успеют, и что действительно лучше выпить стакан горячего чая и поболтать за чаем о пустяках.

Наконец, настал момент и для делового разговора.

— Ну, что наш план? Накануне краха? Да?

Галактион Анемподистович сказал эти страшные для Боброва слова с улыбочкой, словно давно знал, с чем пришел Бобров, и давно обдумал, как ему следует действовать. Эта улыбка ободрила Юрия Степановича. Уже без всякой нервности и озлобления он спокойно повторил архитектору рассказ о своих хождениях и мытарствах, о логическом Ратцеле, о Ерофееве и, наконец, рассказал о приеме у председателя.

Когда Бобров кончил, Галактион Анемподистович подмигнул ему и с плутовской усмешкой спросил:

— Что ж? Закрываем лавочку?

— Как же так? Нельзя,—горячо возразил Бобров.

— А вы таким пришли, что хоть дело бросай. Я и сам прекрасно понимаю, что нельзя. Вот тут-то и упираемся мы с вами, милейший Юрий Степанович, в основной вопрос всякого строитель-

ства, о котором я имел честь в свое время докладывать. Что ж вы думали, что вас так сразу и послушают? Стройте, мол, Юрий Степанович, вот вам миллион, вот вам два. Не-ет. Каждую копейку выстрадать надо, а в случае чего и душу погубить.

Галактион Анемподистович нагнулся к самому уху Боброва, глаза его засветились яркой зловещей полудикой улыбкой:

— Как это бывает: сидите вы вот так в комнатке один—думаете. На дворе, понимаете, ветер вост, в трубе поет, мышцы, понимаете, скребуются. Положение отчаянное. Безвыходное положение. И вот вы берете веревку и начинаете ее тихонечко к потолку прилаживать. Приладили—все хорошо, петельку завязали—и на шею. Только ногой табуретку, и тррах!

Галактион Анемподистович для большей образности размахнулся рукой и уронил со стола стакан.

— Э, ничего, это к добру... Тррах—и все конечно. А под ногами у вас чортик болтается. Обыкновенный, этажный чортик, с рожками и хвостиком.—«Псдпишиись,—говорит,—все у тебя будет... А мне только одно и нужно—твоя душа...»

Галактион Анемподистович откинулся на спинку единственного стула и мелким, мелким смешком расхохотался в лицо Боброву.

— «Пьяный, что ли с трех рюмок напился?»— подумал Юрий Степанович и вслух спросил:— Уж не хотите ли вы сыграть в этом деле роль чорта?

Галактион Анемподистович с радостью ухватился за этот вопрос:

— Ага! Поняли, наконец, молодой человек. Да, если бы я самим нечистым духом не был, разве ж мы бы сидели сейчас вдвоем? Разве ж вы бы ко мне пришли? Никогда бы не пришли. А я вас все завлекал, завлекал, а теперь стой. Птичка в моих руках. Что? Не хотите ли еще рюмочку— неожиданно предложил он и первый опрокинул в рот свою рюмку.

— Я не для шуток пришел, Галактион Анемподистович.

— Да и я не шучу,—серьезно ответил архитектор.—Что ж вы теперь предлагаете?

— Ну что же,—замаялся Бобров.—Созвать общее собрание. Мобилизовать общественное мнение. Настаивать на своем, обратиться за поддержкой в центр. Там люди, небось, поумнее наших, поймут и поддержат. Не руки же опускать?

Архитектор искренно расхохотался.

— Вот чудак. Уморил! В центр! Общественное мнение? Поймут? Да откуда вы? С луны что ли свалились. Сегодня не поняли—завтра поймут!..

Он закашлялся, покраснел и долго хохотал, глядя на обескураженного, ничего не понимавшего Боброва.

— Что ж тут такого,—оправдывался Бобров:—можно и в губком обратиться. Может быть, он воздействует.

Но и сам теперь не верил своим словам. Если здесь, где его, Боброва, знают рабочие, где сами рабочие могут давить на начальство, где, наконец, имеют представление о той нужде, в которой живут рабочие, ничего не вышло,—что может выйти в далеком неведомом центре? Ведь центр, прежде всего, тех же самых людей запросит: Лукьянова, Ратцеля—от них никуда не убежишь.

— Эх вы, молодой человек, молодой человек!—За большое дело взялись, а порядков не знаете. Ну теперь давайте все сначала рассмотрим. Разве вам отказали? Нет еще. С вами не согласились? Отчасти да. Так ведь не все пропало! Ведь у вас успех был—отчаянный, я вам скажу, успех. Не отчаяваться надо, не руки опускать, а развивать успех и на плечах, как говорится, неприятеля занять город.. Так или не так?

— Я никакого успеха не вижу.

— Оставьте! Вас слушали—это уже и есть успех. Убедили вы или нет? Нет, некоторых, не убедили. Значит, надо убедить—вот вам и весь разговор.

Угловатая фигура Ратцеля, усталое, полусонное лицо председателя.

— Как же их убедить?.. — не понимал Бобров. Галактион Анемподистович рассмеялся.

— Не Маркса же в самом деле цитировать — они Маркса, может быть, лучше нашего знают. Надо по существу убедить.

— А знаете, так скажите.

— Я к тому и веду. Во всяком деле, как в старину говорили, — надо ж дать. Анекдот такой есть.

— Взятку.

— Те-те-те! Заговариваетесь вы, молодой человек. Ишь ведь до чего додумался — с рабочего класса кому-то взятку. Ну и сказал! — искренно возмутился архитектор. — Надо каждому дать то, чего он хочет, — вот деловой принцип.

Боброву стало неловко за неосторожно брошенное слово.

— Подумать надо, обмозговать и решить, кому что требуется. Давайте теперь по порядку. Кто у вас первый? Ну, скажем, Ратцель. Ему требуется всесоюзный масштаб и статистика. Пустяки. Я ему эту статистику на двадцать страниц разберну — не лыком шит, свою губернию хорошо знаю. Почему у нас, почему теперь — все это мы доподлинно объясним. А пока он кумекает, да возражение стряпает — мы уж и решили. Правильно?

-- Пожалуй, что и правильно.

— Вот видите. Теперь Ерофеев за нас. Почему за нас—это нетрудно угадать. Соскучился, давно хорсшего дела не видал. Пришлет своего грызуна—Палладий Ефимович Мышь, прошу любить и жаловать. Ладно, со счетов долой... Скажем в комиссии будет человек пять.

--- Наверное.

--- А у нас уж два голоса есть.

--- Покамест один.

— Вы про Ратцеля? Ничего, обломаем. Ввиду важности вопроса в комиссии будет и сам председатель. Считайте, что его слово—три слова. Что он скажет—то и еще двое скажут—это арифметика обыкновенная. Значит, вся суть в председателе и не в ком ином. Лицо важное и по должности и по значению вообще. Что он вам говорил?

Бобров еще раз повторил весь разговор с председателем, подчеркнув его двойственное отношение к делу.

— Не поймешь, в теорию какую-то пустился,— закончил он.

-- Теория? Это не хорошо, если теория—труднее всего с теории человека сбить. А мы его на практическую линию должны поставить. Только тут надо наверняка бить, иначе все дело проиграем. Напрасно вы вроде как с депутатией

пришли. Ну что он мог депутации сказать? Ничего. К нему неофициально подойти надо, за бутылочкой, может быть, потолковать, он, кажется, потребляет.

— Лет на десять опоздали! До него теперь рукой не достанешь.

— Эка ты, не достанешь! Месяц с неба—верно, что не достанешь, а человека всегда достать можно. Человек, что рыба,—удочку закинь, он и клюнет. Хе, хе... ну-ка, клюнем по маленькой...

Бобров не прикоснулся к водке, а Галактион Анемподистович с удовольствием опрокинул еще одну и сделался от этого еще более разговорчивым, чем до сих пор, и не то, чтобы пьяным, пьянели у него только глаза, сколько рыхлим и словно бы насквозь пропитывался тихим полубеззвучным смехом.

— А удочка-то есть—клюнет... Дело-то до чего простое. Только вы уж пожалуйста в сем разе не подкузьмите. Через женщину, понимаете, надо действовать. Это и в старое время помогало, и теперь поможет... И женщина такая есть—вам везет...

Галактион Анемподистович шутливо погрозил Боброву и плутовато улыбнулся.

— Только смотрите, чтобы не подвести. На вас такие надежды,—а вы вдруг—импотент...

Бобров покраснел.

— Гадко это, Галактион Анемподистович. Нельзя ли как-нибудь прямо...

— Прямо только вороны летают. Успеете еще по прямым путям находиться—сделаем маленький поворотик, а потом опять прямо... хе-хе.

— Но все-таки,—не унимался Бобров, — дело большое, общественное, и вдруг...

— И совсем не вдруг, а после основательного обсуждения... Да-с. Вы, как передовой человек, понимать сами должны. Это в вас, как теперь говорят, старая закваска... Буржуазная мораль...

— Пролетарская мораль выше буржуазной,—возразил Бобров.

— То-то же выше. Для торжества рабочего класса кровь проливать можно. Ну, отвечайте, братскую что ли кровь можис?

.... Конечно можно.

— А совесть свою боитесь запятнать. Она у нас чистенькая должна остаться? Не-ет! Или вы в дело не верите, или... Да что говорить!..

Галактион Анемподистович махнул рукой и замолчал.

Бобров тоже призадумался. Те вопросы, которые вдруг поставил перед ним Галактион Анемподистович, никогда не приходили ему в голову, а тем более их надо было решить сейчас же, теперь.

— Два человека в каждом живут. Может быть, и не два, а больше, только уж возьмем для примера два. Один в кабинете у себя бумажки подписывает, а другой в домашней обстановочке, у эдакой интересной женщины чаек распивает... Тут-то его и хватай. Никакие теории не спасут. И женщина-то такая имеется, вам везет...—Как ее зовут-то, забыл...

— Муся,—вспомнил Бобров.

И то, что в теории, да особенно в изложении Галактиона Анемподистовича казалось и гадким и страшным,—на практике обертывалось в легкое и вовсе уж не такое гадкое дело. Почему не встретиться, наконец, с Мусей?

— Неважно, как ее зовут—не удалось вспомнить архитектору,—только действовать надо, начинайте.

Голос архитектора принял суровый и грубоватый оттенок.

— Что, поняли? То-то же. В прежнее время перед таким делом молебн бы отслужили, а теперь давайте еще одну. Не хотите? Сорокаградусной-то. Вот был великий момент—разрешение вина и елея. Помните? Три дня праздновали—и было из-за чего.

Уходил Бобров не совсем твердой походкой. Галактион Анемподистович провожал его и крикнул на прощанье:

— Не оступитесь. Лестница-то крутая—можно и голову сломить.

Боброву почудилось, что этой простой фразе архитектор придает скрытый таинственный смысл.

## VIII

О, эти встречи мимолетные.

*В. Брюсов.*

В канцелярии губзема отдела произошло то событие, которое определило судьбу Боброва и судьбу того дела, которого исполнителем являлся наш герой. Событие это перевернуло все карты, сделав, казалось бы, трудное—простым и легким, казалось бы недостижимое—доступным и близким.

Бобров стоял у секретарского стола, добиваясь необходимой ему справки, и ничего не добившись опустил голову, как человек не знающий, что делать, и ищущий выхода из создавшегося положения. Речи архитектора по здравом рассуждении человека, из головы которого вылетел весь вчерашний хмель, казались не более, как шуткой, а если и серьезным выходом из положения, то выходом невероятным. Как он придет, что он скажет? Что скажет она? Может быть, только посмеется над его наивностью...

Тогда, что же остается? Бросить все предприятие, на которое ушло столько сил, с которым связано столько надежд, отступить перед препятствиями и выждать другого, более благоприятного, момента? Юрий Степанович похож был на полководца, не рассчитывшего своих сил и думающего о том—принять ли битву сейчас, или безопаснее и вернее будет отступить, чтобы сохранить свою армию.

И вот покамест он так стоял и размышлял—открылась дверь, секретарь взволнованный встал со стула, все зашевелились, задвигались, вытягивая шеи из-за столов, конторщики и делопроизводители—и обернувшись, Бобров увидел невысокую женщину с простым или, пожалуй, простоватым лицом, очень скромно одетую, но в то же время излучающую непреодолимое и даже не женственное очарование. Она шла по канцелярии, как, вероятно, королевы идут на коронацию, и следовавший за ней паж—иначе нельзя было назвать безусого юнца, ее сопровождавшего, нес за ней невидимый шлейф ее платья.

Легкий, подобный вздоху шопот—тотчас же умолкший,—и тот же самый секретарь, который разговаривал с Бобровым, небрежно развалясь и не выпуская изо рта папиросы,—тот же самый секретарь привстал и пошел навстречу женщине. Бобров смотрел на нее во все глаза, но в этих

глазах не было восхищения—и может ли вызвать восхищение женщина, вовсе не похожая на греческих богинь, а может быть, даже совсем некрасивая—были у нее и такие минуты. Он смотрел на нее скорее с недоумением. Неужели это она—простенькая, со вздернутым, покрытым воснушками носом, маленькая женщина, сумела добиться того, что ее все знают, все уважают, о ней все говорят? И он удивлялся отнюдь не тому, что она могла увлечь малообразованного и грубоватого парня, каким в сущности был председатель губисполкома, если отвлечься от его революционных и военных заслуг: это могла сделать любая горничная, при помощи заимствованных от «господ» деликатных манер и умения хорошо одеваться. Его удивляло другое—как она сумела удержаться на высоте, не поскользнуться, не упасть и остаться, несмотря на все разговоры и слухи, такой же простой и такой же обыкновенной.

А может быть, все эти слухи—плод досужей фантазии?...

— Так ведь это же Муся... Как мало она изменилась.

Он ловил каждое ее слово, прислушивался к ее громкому взрывчатому смеху, присматривался к малейшему капризному движению ее губ.

— Да, это она. Может быть, подойти к ней и сказать: «не вы ли та самая Муся, которая...»

Нет, это было бы неловко. Надо что-нибудь придумать.

Она уже собиралась уходить. Кокетливым движением она подала руку секретарю и посмотрела на Боброва. Может быть, смутилась, увидев его. Нет. Она идет к двери. Бобров пошел позади ее шагах в трех, делая вид, что вовсе не интересуется ею. Лестница. Она опирается на руку безусого юнца, которого в этот момент Бобров ненавидит. Она изредка оглядывается—может быть, смотрит на него. Нет, этого не может быть.

Бобров продолжает спускаться по лестнице вслед за нею. Она оступилась—это вполне естественно. Молодой паж успел поддержать ее, но не успел поддержать ее ридикюля. Ридикюль вывалился из ее рук и полетел вниз. По лестнице вниз полетел и Бобров—подбирать тот драгоценный для женщины хлам, который стал предметом катастрофы, зеркальце, пудреница, карандаш, какие-то записки, словом все обычное содержимое ридикюлей было водворено на прежнее место и с поклоном преподнесено их обладательнице.

Бобров пробормотал при этом даже какие-то слова, вроде «пожалуйста» или «извините»—не все равно, самый тон их свидетельствовал о счастье держать хоть секунду в руках эти драгоценные вещи.

Она милостиво улыбнулась ему—и лицо ее приняло вид очаровательный, еще более напоминающий то, забытое, казалось бы, лицо.

— Напомнить, спросить?

Бобров поступил дипломатично. Не напомнил и не спросил. Может быть, она вовсе не хочет этих вопросов и напоминаний, может быть—она не хочет, чтобы он узнал ее—мало ли что. Пусть она первая...

— Ах, благодарю, благодарю,—сказала она.

У подъезда ее ждал весело урчавший и готовый каждую минуту сорваться с места автомобиль...

— Расстаться? Упустить такой момент. Но ведь это Муся, и она узнала его—иначе зачем этот упавший ридикюль, зачем вообще вся эта комедия.

Бобров приложил руку к козырьку.

— До свиданья, товарищ,—ответила она.—Благодарю вас. Нам, вероятно, не по пути.

Она благосклонно улыбнулась и протянула Боброву руку. С его стороны требовалось только, если это действительно была Муся, задержать ее маленькую сухую и горячую руку дольше, чем это требовалось приличиями, посмотреть в глаза несколько пристальнее, чем то позволено почти незнакомым людям, сделать еле заметное, а посторонним и вовсе незаметное движение, чтобы она смутилась, отвернулась и сказала:

— А, может быть, яам по пути. Вы далеко живете?

А потом помочь ей усесться в авто, занять место рядом с нею, оттеснив безусого пажа на сиденье шоффера и глядя на нее, чуть слышно сказать:

-- А я вас узнал.

Выдержать ее полный притворного удивления взгляд, потом услышать чуть сдавленный взрывчатый смех, поймать лукавую улыбку.

— За кого же вы меня приняли? Муся? Это что еще за Муся?

И уже открытый, громкий смех, приводящий в смущение безусого пажа.

Что может сравниться с подобной встречей по радости, которой она переполняет сердце? И что может быть в то же время мгновенней этой радости, что может быть ее мимолетней? Встреча когда-то близких друг другу, теперь уже чужих друг другу людей не может ли она кончиться полным разочарованием?—Что сильнее--полузабытая сказка далекой, первой, полудетской любви или полный чуждых другому забот и чуждых другому тревог сегодняшней день?

Радость, которая готова, казалось бы, выплеснуться из берегов, радость, готовая, казалось бы, вобрать в себя всего человека—не останется ли она неудовлетворенной, не обратится ли в нена-

висть к тому, кто обманул лучшее из чувств— чувство свидания с потерянным другом?

Две-три минуты—все разговоры закончены. Они молча смотрят друг другу в глаза—и лишнее слово испортит все. Было необыкновенным счастьем, что нельзя сейчас же в автомобиле, в присутствии посторонних исчерпать до конца неожиданную полноту свидания.

— Мне сюда,—сказал Бобров, когда автомобиль поровнялся с Государственным банком.

— У вас дела в банке? Интересно...

— А разве вы не знаете—ведь мы собираемся строить новый город.

— Город? Ах как это любсытно! Вы мне все расскажите. Сегодня? Конечно, можно и сегодня. Мне хочется с вами о многом, о многом поговорить, вдруг застеснявшись и напомним прежнюю маленькую Мусю, сказала она:—значит, увидимся?..

Бобров ответил на приглашение благодарным пожатием руки, потом поднял эту руку к губам и крепко поцеловал. В этом поцелуе чувствовалось нечто большее простой почтительности или дружбы, было даже что-то похожее на страсть, но недостаточно грубую, чтобы напугать, и недостаточно тонкую, чтобы не достичь глубины женского сердца.

«Не есть ли это начало лучших дней?»—думал Бобров, провожая глазами убежавший от него

автомобиль.—Может быть, архитектор прав. Чертежи, выкладки, карты, планы,—что значат все они по сравнению с одним словом женщины. Ведь она»...

Мы не будем повторять рассуждений Боброва, может быть, слишком грубых и слишком расщудочных. Ведь она до сих пор оставалась для него только Мусей-гимназисткой, несколько более живою и доступною, чем то полагалось по строгим правилам ведомства императрицы Марии. Почему же не воспользоваться тем, что дается прямо в руки, почему в числе других не использовать и эту возможность, если хоть на один вершок она подвинет к желаемой цели? Что ж—придется делать вид, что не забыл давней любви, придется, может быть, встать в ряды вздыхателей, притворяться...

Какие пустяки! Маленькое приключение, которое, наверное, увенчается победой.

— Такую — только поднять руку и взять. Очень хорошо, что я не навязывался.

Но несмотря на эти грубые рассуждения и эти грубые же соображения, несмотря на то, что встречи этой он добивался сам и предварительно узнал от Алафертова, где ее можно будет легче всего встретить,—но был в то же время взволнован и даже ошеломлен этим событием.

Первое движение мысли—поделиться с кем-нибудь этой новостью. Рассказать архитектору? Но

архитектора не оказалось в невзрачном помещении строительного кооператива. Метчиков все равно ничего не поймет—да и наде ли? Алафертов? Вот именно—рассказать Алафертову. Может быть, Алафертов интересуется его успехом?

Он побежал бы к Алафертову и поделился бы с Алафертовым своим неожиданным успехом, если бы дорога к этому товарищу и другу детства не вела через мост. А на мосту в этот момент сгрудились подводы, тропинки для пешеходов заняли служащие, расходившиеся по домам, торопясь и не желая никому уступать дороги. По воле Бобров пошел шагом, а изменение в скорости движения и напряженности его несколько охлаждающе повлияло на мысль.

— Зачем я бегу? Куда? Что я скажу?

Несколько минут по инерции он двигался вперед, потом неожиданно для догонявших его пешеходов повернулся назад и очутился с кем-то лицом к лицу.

Лицо, с которым довелось столкнуться Боброву оказалось круглым, как молодой месяц, красным, как тот же месяц в туманную ночь, и улыбающимся—опять-таки точь-в-точь как месяц.

Впрочем, столкнувшись с Бобровым, оно не улыбулось, а сморщилось:

--- Эк, тебя!

И несколько отшатнулось назад. Бобров извинился и отступил на шаг вправо. Лицо во всех отношениях, похожее на месяц, отступило тоже на шаг и в ту же сторону. Бобров только теперь заметил, что оно снабжено круглым туловищем, загораживающим узкую тропинку. Наступила очередь возмущаться ему. Прошептав что-то угрожающее, он сделал шаг влево—и влево же передвинулось круглое туловище.

-- Затерло,—сказало добродушно круглое, как месяц, лицо, повернулось к Боброву боком, причем Бобров смог заметить руку, плотно сжимающую портфель.

Бобров тоже встал боком, и они разошлись.

К чему, спросите вы, столь подробное описание ничтожного происшествия? К чему это похожее на месяц лицо? Действительно, оно мало интересно для дальнейшего повествования, кроме разве того, что пустяковый случай этот поставил, как говорится, расстроенного и взволнованного героя на рельсы; уже и самая мысль о том, что произошло нечто выдающееся, оставила его; уже не требовалось ни с кем делиться ошеломляющей, якобы, новостью, и только некоторое время сохранялось смутное волнение и беспокойство, как будто бы он забыл о чем. О чем же забыл?

-- Нюра! Ведь она ждет!

И с тягостным чувством необходимости этой встречи он вернулся обратно и направился на Гребешок.

\* \*  
\* \*

Странная вещь, друзья мои, человеческое сердце. Только вчера, получив радостную весть, не к Нюре ли побежал бы он поделиться этой радостной вестью, не ей ли первой рассказал бы о планах своих и неудачах? И вдруг—с тягостным чувством необходимости идет он к условленному месту свиданий.

Она заметила необычную его возбужденность.

— Что с тобой? Утвердили? Нет? Отказали?— забросала она его беспокойными вопросами, глядя на него влюбленными глазами, в которых светились и нежность, и гордость, и тревога.

— Нет... Но очень, очень много сделано, — ответил Бобров.

— Расскажи.

Как рассказать? Разве об этом можно рассказать ей? Что она поймет? Как отнесется?

— В общем, пожалуй, и ничего не сделано,— сбивчиво пояснил.— Ты этого, пожалуй...

Он долго подыскивал слово, которое бы не обидело Нюру,—и не нашел.

— Ты этого не поймешь.

Такое пренебрежение было полной неожиданностью для Нюры.

— Я—не пойму? Что ты говоришь? Так вот как ты смотришь на женщину. Ты думаешь, что она понимает меньше вашего. Нет, у меня тоже котелок варит,—не преминула она и в этом случае голытьнуть обортом излюбленного наречия.

Поневоле пришлось поделиться: Бобров рассказал Нюре о всех мытарствах, о разговоре с архитектором, и, наконец, не без некоторого, впрочем колебания, о встрече с Мусей, утаив, конечно, подробности чисто эмоционального свойства, которые одни, может быть, могли быть непонятны для Нюры.

Нюра отнеслась к его рассказу с полным равнодушием.

— Глупости болтает твой архитектор. Он отсталый и смешной человек. Ты не обижайся, что я так говорю о твоём... приятеле!

Затем она повторила все те доводы, которыми думал и сам Бобров сбить Галактиона Анемподистовича с его позиции.

— А это что еще за Муся? Поговоришь с тобой—и с твоим архитектором, как-будто в омуте побываешь. Неужели ты думаешь так действовать? Это, знаешь ли...

Она не договорила—но Бобров отлично понял ее мысль.

— А что же ты другое выдумаешь?

Нюра бесшабашно трянула стрижеными кудрями и, подняв голову, попыталась облаком табачного дыма закрыть самое солнце.

— Устроить хорошенькую бузу. Я бы пошла— всех там растормошила. Барахолиться тут нечего. Мы в этих случаях всегда бузим—и она бросила на Боброва вызывающий взгляд независимой школьницы.

— Попробуй.

— И попробовала бы. А ты что—тряпка. Слушаешься какого-то архитектора, он тебя на поводу держит. Ты бы рабочему такую штуку сказал, он бы тебя...

— Ну и стали бы ждать сто лет...

— Вовсе не сто лет. А для чего тебе обязательно такой большой план проводить? Соглашайся на маленький—работай.

Объяснять Нюре, для чего ему нужно проводить именно большой план, не входило в соображения нашего героя.

— Ты, может быть, сам к этому делу подходишь не совсем...

Она не договорила, но Бобров прекрасно понял ее мысль.

— Тут не может быть разговоров об этом,— ответил он.—Для того, что мы начали, можно все потерять... Даже...

Он тоже загнулся на полуслове и не договорил.

Они молча шли по заросшей травой тропинке—он глядел по сторонам на высокие тихие деревья—она смотрела вниз, на траву, на следы чьих-то ног, притоптавших эту траву.

— Так ты сегодня будешь у нее? Так скоро,— первая прервала молчание Нюра.

— Конечно. Надо успеть поговорить с товарищем Лукьяновым. Осталось три дня.

— Значит, твердо решил—сегодня?

В голосе ее чувствовалась нескрываемая тревога. Она крепко сжала его руку—так она делала всегда, когда оставалась с ним наедине: Боброву нравилось чувствовать теплоту ее мягкой руки, но сейчас это только раздражало.

— Сегодня?—шопотом переспросила она:—не надо! Не ходи!

— Почему же не надо?

— Не надо. Ну я прошу тебя—неужели ты не сделаешь для меня... такого пустяка.

— Что же случилось?—Неужели она будет мешать мне,—подумал он.—Скажи, почему,—я тебе отвечу.

Она покраснела, опустила голову и чуть слышно сказала:

— Не могу... Я не могу сказать, почему... У меня предчувствие.

— Предчувствие?!..

Он посмотрел на нее так, как-будто в первый раз видел это раскрасневшееся тонкое личико. Предчувствия! И это женщина, которая так просто, так смело и легко сошлась с ним—без разговоров, без слез, без вздохов, женщина передовая, предоставившая старым тетушкам и бабушкам все пережитки, все предрассудки, все так называемые отрывки буржуазной психологии.

Беда, мой дорогой читатель, с этим женским элементом человеческого рода. Ты считаешь стриженую эту головку, набитую премудростями курсов политграмоты и прочими премудростями, набиваемыми в сотни таких же стриженных головок, на всех рабфаках, вузах, тузах, втузах и техникумах, за кладезь самых новых мыслей и взглядов, а оказывается—в этой головке еще осталось место для каких-то там предчувствий. Ты думаешь, что она верит только в Маркса и Энгельса, свято соблюдая заветы Ильича, а она верит снам и каждое утро перелистывает потрепанный сонник, чтобы узнать, что значит целоваться во сне или видеть во сне виноград и пирожные.

Так, примерно, рассуждал и Бобров. Так рассуждала бы и сама Нюра, будь бы она на его месте.

— Какие предчувствия? Просто смешно это от тебя слышать. Ты ревнуешь, может быть? Так

если я тебя разлюблю—я прямо скажу об этом и все тут. Ведь верно?

Он мог бы повторить ей, что и любви, как чего-то особенного и связывающего, вовсе нет, что есть физиологическое влечение, что это одно из самых простых житейских дел—он мог бы сослаться, что до сих пор и она очень просто относилась ко всему, и прочее, и прочее...

— Скажешь, да?—спросила она, поднимая на него умоляющие глаза.

И невольно представил Юрпй Степанович, как такой же взгляд бросила бы Муся. Сколько было бы в этом взгляде и нежности, и лукавства, и кокетства.

— А ты хотела бы из-за таких пустяков расстроить все дело.—Ты поняла, наконец, что говоришь глупости?

Нюра неуверенным и как-будто бы прибитым взглядом робко ответила ему:

— Нет, зачем же... Ты свободен и можешь делать все, что ты хочешь. Разве я имею право связывать тебя.

Мир был заключен. И этот мир не был миром без победителей и побежденных. Нюра была побеждена: она не знала, но чувствовала это—так же как и Бобров чувствовал свою победу.

## IX

И только раз мечта с мечтой встречается.

*К. Бальмонт.*

Муся вышла к Боброву не сразу. Он успел осмотреть гостиную с мягкими диванами и креслами в серых по летнему времени чехлах, с картинами далеко не революционного содержания, а впрочем и с портретами вождей в новеньких покрытых свежим лаком рамках. Когда он успел все это осмотреть и убедиться в том, что Муся, несмотря на жилищный кризис, живет достаточно просторно—она вышла сама в белом платье, обнажавшем полные, чуть загорелые руки и плечи.

— Что же вы не удосужились заглянуть ко мне раньше,—сказала она, усадив его на диван так близко, что ее платье прикасалось к нему и он прямо перед собой видел большие серые глаза и мелкие чуть запудренные веснушки.— Давно вы приехали? Вот видите. Где вы научились забывать старых друзей? Я просила напомнить вам о себе одного вашего приятеля... как его... Алафертова.

— Алафертова,—не скрывая удивления, переспросил Бобров:—он мне ничего не говорил...

— Ну как же. Вы сами должны были догадаться... Ведь это же очень, очень обидно...

Она отвернулась, и лицо ее стало действительно выражать обиду, впрочем опять-таки с оттенком лукавства. Он пытался оправдываться—она не слушала. И вдруг—выражение обиды исчезло, и, расправив губы в приветливую улыбку, она быстро повернулась к нему, протянула руку:

— Ладно, я вас прощаю... только смотрите—в последний раз.

Он взял ее руку и долго не выпускал из своей, крепко сжимая маленькие сухие пальцы.

— А теперь рассказывайте, что вы здесь делаете,—спросила она, не отнимая руки:—как ваш знаменитый город. Я уж слышала...

Бобров был доволен, что не ему первому пришлось начинать разговор, который должен был закончиться чем-то в роде просьбы. Она терпеливо слушала его рассказ с серьезностью, вовсе, казалось бы не свойственной кокетливой и легкомысленной женщине, неспособной ни над чем серьезно задуматься, какой она показалась Боброву. И только при упоминании об архитекторе она задала мало относящийся к делу вопрос.

— Кто он такой? Вы говорите — интересный человек? Почему он у меня не бывает?

И положив свою руку на руку Боброва, спросила:

— Вы приведете его сюда? Ладно?

Бобров согласился—правда, не без некоторого минутного замешательства. Муся отметила это замешательство чуть заметной полуиронической, полуторжествующей улыбкой.

— А я слыхала—вы влюблены,—ни с того ни с сего задала юна ему совсем уже нескромный и вовсе не относящийся к делу вопрос.

Бобров понял, что тут не обошлось без Алафертова, который успел посвятить Мусю во все подробности его жизни.

— Она хорошенькая? Это правда? Говорят—большая умница.

Бобров пробормотал не то да, не то нет, но Мусе и не нужно было ответа. Кокетливо улыбнувшись, она поправила спустившееся с плеча платье и покраснела.

— Ну что же. Ведь мы все-таки останемся друзьями. Не правда ли?

Взглянула ему в глаза и опять крепко пожала руку. Он ответил таким же крепким рукопожатием.

— Теперь ты мой,—хотела она сказать этим рукопожатием, но вслух сказала другое.

— Я в вашем распоряжении. Мне так нравятся все эти ваши... планы. Завтра вы будете у меня? Здесь можно встретиться с очень интересными для вас людьми...

Она пристально посмотрела ему в глаза и раздельно добавила:

— Например... товарищ Лукьянов. Будете?

\* \* \*

Архитектор, которого Бобров не замедлил осведомить о своих успехах, шутливо предупредил его.

— Смотрите—осторожнее. Женщина—это чорт. В них всегда бесы живут.

— Я в бесов не верю,—попробовал отшутиться Бобров.

— Что вы? Напрасно! В бесов даже коммунистам разрешено верить. Один мой знакомый—коммунист—работали мы с ним вместе, а он к каждому слову—чорт да чорт. Так нет же, говорю, чорта. А он мне:—«Что ты,—это в бога нельзя верить, а в чорта можно. Насчет чорта ни в одной инструкции не сказано». Я не поверил ему—дай, думаю, сам посмотрю. И понимаете—все учебники перебрал, даже толстый этот—как его—Бердников и Светлов—действительно о чорте—ни слова.

Бобров не возражал.

— А раз существуют—значит, могут и досажать. Ты свои обязанности исполняешь, а бес-то тебя под ребро, под ребро.

Галактион Анемподистович шутливо подтолкнул Боброва и засмеялся.

— Идите—небось он уже там.

Сегодня Муся была в черном наглухо застегнутом платыи.

— Вы очень аккуратны,—сказала она.

Тут он заметил в глубине комнаты большого широкогрудого и тучного мужчину, снесколко, может быть, оплывшим лицом и усталой улыбкой.

— А, строитель!—Обрадованно протянул товарищ Лукьянов:—каковы успехи?

— Вы. знакомы? Неужели?—притворно удивилась Муся.

— А как же? Ты знаешь, с какими он планами пришел... А я вас холодом немножко, холодом обдал. Ведь верно, сознайтесь?

— А я не знаю, какие такие планы,—тоном искреннего любопытства ответила Муся.—Может быть, Юрий Степанович расскажет?

Юрий Степанович не заставил себя просить второй раз.

Понимая, что этот доклад, может быть, самый важный из всех тех докладов, которые ему приходилось до сих пор делать и, может быть, придется делать в будущем, Юрий Степанович употребил все силы своего красноречия, чтобы заинтересовать слушательницу. Он обращался не к товарищу Лукьянову, а к Мусе. Муся, выдерживая свою роль до конца, где нужно—поддакивала,

где нужно—удивлялась, где нужно—восхищалась, а где нужно—выражала явное возмущение.

— Неужели никто не поддержал? Удивляюсь!— говорила она, недовольно складывая губы.— Ведь мы таким делом кого угодно удивить можем!

Товарищ Лукьянов не возражал.

— С этой стороны, конечно, но ведь понимаешь, средства. Откуда что взять...

В дверях появился какой-то очень еще молодой человек и исчез.

— Ах, я и забыла—извинилась Муся.—Позвольте вас на минуточку оставить вдвоем. Меня ждут...

Минуточка растянулась на полчаса.

Представляете вы себе, дорогой читатель, что значит встретиться с сильным мира сего не в его кабинете, когда он, окруженный секретарями и телефонами, изображает вершителя судеб нашей великой республики,—а в гостиной его вероятной фактической жены, и сидеть с ним глаз на глаз в продолжение получаса и говорить с ним не в качестве скромного просителя или сотрудника того или другого учреждения, а в качестве друга детства этой любимой женщины и даже фактической жены, обращаясь к нему как равный к равному, не давая даже понять, что от одного слова его многое зависит в выполнении ваших планов.

Разговор в подобной обстановке сводится примерно к следующему:

— Прекрасное дело, весьма нужное,—говорит один.

— О, конечно, весьма нужное,—отвечает другой и вынимает папиросы.

— Не хотите ли моих—новая марка. Очень хорошие, если не снизят качества. Вы ведь знаете нашу теперешнюю обстановку—бюрократизм, волокита.

— Да, что верно, то верно.

— Представьте себе, прихожу к этому—кажется, Ратцель, а он!

— Что ж делать—вековое наследие.

— Конечно, наследие. А что нужно для того, чтобы развернуть работу? Энергичные люди. Вас я всегда представлял таким. На фронте гражданской войны...

— А знаете, какой был однажды случай... Мы дрались с Колчаком...

Один случай, другой случай—и вдруг оказывается, что вы были в одной дивизии. Впрочем впоследствии выясняется, что не в одной дивизии, зато на одном фронте.

А впрочем потом еще раз выясняется, что и на разных фронтах—но это все равно, что на одном.

— Помните вы такого-то?

— Как же не помнить. Герой! Куда теперь делись эти люди—мало в ком осталась хоть частичка этой энергии...

— Война—праздник революции... А все-таки будни имеют своих, хотя и не так заметных, героев.

Пять минут такого разговора, десять минут, полчаса—а потом...

А потом входит Муся и напоминает, что пора в театр. Об этом же вспоминает и Бобров: у него тоже есть билет в театр. Впрочем, оказывается, что у него нет билета, но зато он достанет. В антракте он не раз и не два встретится с интересующим его лицом, скажет несколько ничего не значащих слов, но за то уже как старый знакомый и уйдет из театра, запомнив изо всей шедшей на сцене драмы или комедии одну только реплику и то из уст не находящейся на сцене Муси.

— Не забудете? Приходите, если вам нетрудно, хоть завтра.

И завтра же, не забывая, что вечером во что бы то ни стало надо прийти полчаса-час и быть у Муси,—завтра же начать новый обход заинтересованных учреждений и лиц, подготавливая дело если не к положительному, то к благожелательному исходу.

\* \* \*

Галактион Анемпюдистович оказался прав. То, чего не могли сделать ни цифры, ни цитаты, ни

горячие речи о жилищной нужде, сделала незначительная скромная женщина и при том так умело, что никому в голову не пришло подумать о наличности во всем этом деле постороннего влияния. Бобров ни на минуту не задумывался, почему Муся с первого же слова поняла его, почему она заинтересовалась его делом, как своим, почему без его прямой просьбы и без всяких его обещаний сразу же начала энергичную и настойчивую атаку. Может быть, и на самом деле воспоминания о первой любви имеют над людьми такую удивительную силу, может быть, и на самом деле Юрий Степанович Бобров оказался таким человеком, к которому предпочтительно перед другими направились все симпатии и помыслы Муси,—все может быть. А еще вернее может быть, что женщина, не обладающая особенной красотой, с помощью своего незаурядного таланта вознесенная на самую, казалось бы, вершину, была в тайне недовольна своим положением. Может быть, она мечтала о более широком поприще деятельности и надеялась сделать Юрия Степановича Боброва трамплином для своего честолюбия, как он думал использовать ее для своего. Все может быть, мой дорогой читатель. Кто разгадает тайну женского сердца?

И совершенно был прав Бобров, когда не задумывался над этой тайной, а принимал блага

свалившегося на него счастья, как должны, стремясь только как можно скорее использовать их.

Товарищ Лукьянов, к которому Бобров явился теперь не в часы, указанные официально как часы приема, а в часы действительно свободные, встретил Боброва не так, как в первое посещение. Это была дружеская, теплая встреча. Конечно, председатель губисполкома ни на минуту не думал сознаваться, что изменил свое отношение к делу под влиянием случайной встречи на квартире у Мусы и под влиянием тех немногих слов, которые успела вымолвить Муся. Он совершенно искренно полагал, что всегда сочувствовал плану и что только отсутствие средств могло смутить его и то не навсегда, и то не безнадежно.

— Это вы? Здравствуйте! Что нового? Как наше дело?

Дело это стало уже их общим делом.

Равнодушие и скука исчезли с несколько ожившего лица председателя, и от того стало явственней заметно грубоватое, подчас злое, подчас добродушное лицо Лукьянова—плотника, Лукьянова—грозы местных буржуев и местных контрреволюционеров.

— Ты совершенно правильно подошел к делу, Бобров. По-большевистски. Только думаю, опять

все наши шавки залают—нельзя, нет средств, починим старое.

Лицо председателя опять стало равнодушным и усталым.

— А ты не беспокойся. Я их при случае так фугану...

И в виде делового предложения сообщил Боброву, что если решат выполнять большую программу, то будет ее выполнять не кооператив, достаточно слабый в финансовом смысле, а губисполком, и что он, Лукьянов, примет самое горячее участие.

Был Юрий Степанович второй раз у Ерофеева. Тот, бог весть, из каких источников, узнал о неожиданном повороте дела, усмехался в огромную бороду и говорил:

— Я ведь знал, что такие дела всегда удаются. Заходите—я могу дельный совет дать.

Механического Ратцеля взялся обрабатывать архитектор, сумевший дать все нужные Ратцелю справки и все необходимые Ратцелю цифры. Метчикова направили к одному из членов президиума—старому товарищу по заводу. Они кричали, били друг друга по плечу и, наконец, договорились.

Еще до заседания стало ясно, что вопрос будет поставлен не о желательности выполнения большого строительного плана, а о способах изыска-

ния потребных для этого средств. На совещании присутствовали все активные работники—и Бобров, и архитектор, и Метчиков.

Но не все прошло так гладко, как хотелось бы. Не обошлось без неожиданной оппозиции. Один из членов совещания оказался чрезвычайно осведомленным и выступил на защиту более чем скромных местных финансов. Он с цифрами в руках доказал, что город не вынесет подобных трат, если даже мобилизует все свои средства. Надежды на большую ссуду весьма проблематичны—почему именно нам, а не кому-нибудь другому. Кроме того, выяснилось, что кредиты давно распределены и надо ждать нового бюджетного года.

Доводы были так основательны, что пришлось призадуматься.

Тогда выступил Ратцель и предложил сократить, или, как он выразился, сжать программу. Построить сотню другую домов, не затевая ломки, не тратясь на новый мост и на новую трамвайную линию. С этим планом склонны были согласиться все,—но положение спас архитектор.

— Товарищи, ведь мы и не пытались получить средства,—а уж опускаем руки. Нам сейчас надо решить—строим или не строим, и начинать заготовку. Ведь время уходит.

Опять начали рассматривать вопрос сначала.

— Уж если мы откажемся, не попытавшись, — сказал Лукьянов, — то куда мы годны. Сдать дела, — да и на покой.

Ерофеев тоже замолвил свое слово в качестве специалиста по постройкам.

— Что в малых, что в больших масштабах, — лиха беда начать. А там раскачаем, и сами не заметим, как все устроится.

Было принято довольно-таки туманное решение: считать постройку нового поселка принципиально желательным, в виду антисанитарного состояния старых слобод, но вопрос считать нерешенным впредь до выяснения возможности получения средств.

— А заготовка материала?

— Конечно, в мере возможности, надо начать.

И к резолюции было добавлено: материал заготавливать немедленно и назначить комиссию под председательством Лукьянова, которой поручить работу.

В комиссию в качестве представителей жилищного кооператива вошли Бобров и Метчиков, а архитектор — по должности губернского инженера.

Резолюция получилась очень тусклая и бледная, но зато допускала всевозможные толкования, как ограничительного, так и наоборот, расширительного характера, и все разошлись довольными.

Сторонники проекта—тем, что проект принят, противники—тем, что проект отклонен, а все вместе—тем, что длинное и скучное заседание, наконец, кончилось.

— Ну и баня,—сказал Галактион Анемподистович,—а все-таки наше дело—лафа.

— Сомневаюсь,—ответил Бобров.—Резолюция довольно тусклая.

— Милый ты мой—да ведь это и хорошо. Вот только в средствах, действительно вопрос. А что не дадут? Работать все-таки надо—чем больше успеем, тем наше дело будет вернее.

\* \*  
\* \*

Муся ждала Боброва с нетерпением.

— Ну, что? Решили?

Бобров рассказал.

— Деньги? Я, признаться, никогда не думаю о деньгах. Да, вот—люблю похвастаться: посмотрите, какая прекрасная вещица—это мне Лукьянов подарил,—сказала она, показывая брошь, которой было заколото платье:—пустяковинка, а я люблю такие занятные вещицы...

Она мило улыбнулась, приложила палец к губам:

— Знаете, что я вам скажу...

Они опять сидели на диване насколько возможно близко друг другу.

— Почему мы так холодно с вами—вы да вы. Почему нам по-старому не называть друг друга—ты меня Мусей, а я тебя—Юрой. Правда? Дай твою руку.

В этот вечер Нюра напрасно ждала Юрия. Ему было некогда—он засиделся «на этом проклятом совещании».





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ



## Х

Я путешествовал недурно. Русский край  
Оригинальности имеет отпечаток.

*Н. Некрасов.*

— Нажимай крепче, Андрюха. Нажимай! Ах ты  
щучий хрен—опять сорвалось.

— А ты там что смотришь, борода? Машинна  
то не бог весть, а полчаса потеем.

В глубоком овраге, втапывая в грязь палые  
осенние листья, копошатся четверо. Один—в ко-  
жаной куртке и кожаных рукавицах, другой—  
широкоплечий парень с засученными рукавами  
подхватили канатом, пропущенным через бревно,  
сохранившиеся от разрушенного моста, упавший  
в овраг автомобиль. Двое внизу, по мере того  
как первые поднимают машину, ставят под авто-  
мобиль подпорки.

— Прикрути веревку-то к дереву. Она сама держать будет.

Из оврага вылезает мужик с черной когда-то, а теперь серой бородой и, поблескивая хитрыми карими глазками, говорит:

— Разве ж мыслимо. Машину машиной бы и вытаскивать...

Закручивает цыгарку и неторопливо закуривает.

— Ты чего там—отдыхать!—прикрикнул на него парень с засученными рукавами, захвативший по праву наиболее энергичное командование над остальными.—Иди, иди, нечего тут, помогай.

— Над-дай! Эх, над-дай!

Кожаная куртка волнуется.

— Черти, осторожнее. Так ведь сломать можно.

Напряженное общее усилие—автомобиль легко взлетает вверх.

— Ставь подпорку. Да торопись! Чего ты боишься-то, чорт!

Сухой треск—двое нижних отскакивают, сшибая друг друга—а машина снова летит в овраг.

— Эх, не выдержала. Молода, во Саксони не была.

Одно из бревен беспомощно повисло над оврагом. Автомобиль уперся одним боком в грязь, другим повис на веревке.

— Сломали, дьяволы,—ругался человек в кожаной куртке—шоффер провалившегося на мосту автомобиля.—Не можете, так не брались бы.

— Я говорю—тут машину бы надо,—объяснял мужик с серой бородой.—Этакие машины бывают—так или не так я говорю—домкрат. Положи ее под дом—и дом подымет. А где ж руками.

— Пошел бы Андрюха за помощью!

Парень с засученными рукавами, к которому относилось имя Андрюхи, ушел, остальные расселись на берегу оврага и закурили.

— Да,—продолжал философствовать серобородый мужик:—как это говорится: теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют.

— А ты что это—стихами,—заметил шоффер, иронически оглядывая мужика.

Тот не счел нужным отвечать—за него ответил другой мужик—тощий, рыжий и в довершение неказистости—рябой.

— Он у нас и не такие стихи умеет. В рифму...

И подмигнул принявшему с достоинством похвалу философу.

— Выгнали? Скоро вы?

Это говорит вышедший из леса молодой человек в городском, претендующем на щегольство, costume, при первом взгляде на которого мы с вами сразу узнали бы Юрия Степановича Боброва.

— За помощью пошли,—ответил рябой мужик.

Пока мужики тщетно пытались вытащить из оврага злополучную машину, Юрий Степанович то прятался в лес, то топтался на берегу оврага, выражая явное нетерпение. Видимо, задержка эта не входила в его планы: выехав только затем, чтобы осмотреть снова пустырь, где в недалеком будущем должен был расположиться новый городок, вздумал он заодно проехаться и на Слуховщину, взглянуть на знаменитый лес, который уже решено было, принципиально пока, отдать в распоряжение строителей. Как он представлял себе эту поездку? Полчаса туда, полчаса обратно—час-два на осмотр—и вечером дома. Разве мог он предполагать, что всего в десяти верстах от города творятся странные и непонятные для человека, привыкшего к городской культуре, вещи. Разве мог он предполагать, читая написанные сто лет тому строки, только-что скороговоркой процитированные бороатым философом, что за сто лет наши дороги мало в чем изменились, разве только мосты успели прогнить еще основательнее и не выдерживали уже такого легкого экипажа, как фордовский автомобиль.

— Далеко до Слуховки?—спросил он.

— Где ж далеко. Рукой подать,—ответил философ:—как деревню пройдешь, так на полверсте и волость: вам небось в волость надо? А не то ко

мне зайдите, каждая душа укажет, где я живу. Спросите только, где Михалок живет,—это я Михалок и буду. Баба самоварчик поставила бы.

Юрий Степанович поспешил поблагодарить Михалка за приглашение, перебрался через овраг, почистил слегка запачканные при катастрофе брюки и медленно, выбирая места посуше, пошел по дороге, заросшей по сторонам полным фантастических красок увядания кустарником.

— Начальство что ли,—спросил Михалок, показывая глазами на удалявшегося Боброва.

— Какое там начальство—шантрапа,—отозвался шоффер.

Видно было, что Юрий Степанович еще не успел заслужить уважения своего шоффера.

— Тоже в прошлом году,—рассказывал рябой мужик,—приехал один такой и застрял. Подводу пришлось нанимать и для него и для машины... У нас тут всегда так...

— А вы бы починили мост,—резонно возразил шоффер.

Михалок сплюнул цыгарку, втоптал ее в землю.

— А на кой чинить? Мы на машинах не ездим!

— Так ведь и телега провалиться может.

— А на кой нам через этот мост ездить. Барский мост—а теперь по нем только комиссары ездят. А мы стороной об'езжаем—способнее...

Спорить не приходилось.

Скоро пришла подмога--пятеро мужиков во главе с Андрухой: они вели под уздцы пару лошадей.

— Ну и машина. Некуда постромки привязать.

— Захватывай за колеса-то! Н-но!

Лошади тужились, увязая по колено в грязи, люди кричали, ругались, побряхтывали с неизменным:

— Эх, наддай!

Трещали гнилые бревна и доски, от неловких поворотов дребезжал автомобиль.

— Эх, еще разик. Еще раз. Ух-нем!..

Лошади рванули и вышли на ровное место. Вслед за ними выползла и машина, неловко переваливаясь по неровной дороге. Вид у нее был достаточно жалок—разбитые стекла, помятый верх, порванная шина. Мужики вытирали пот, свертывали цыгарки.

— В волость что ли везти? Запрягай. Там у нас кузница есть.

— Одно колесо—пустяки,—рассуждали они дорогой.—А вон в прошлом годе всю машину, словно разжевал кто. В лепешку.

— В прошлом-то годе и самого в больницу отвезли. А нынче что.

— И зачем они только ездют,—рассуждал рябой,—я бы на их месте—ни в жисть. И зачем они только ездют...



Велика, и многообразна, и многоязычна матушка наша республика. Пять верст—десять верст— а о двадцати верстах и говорить не приходится, и вот уже иные люди, иные нравы, иные обычаи. Я не говорю здесь о какой-нибудь там мордве или черемисах или кареле—я говорю только о тех, кого окрестили общим наименованием русского или точнее—великорусса.

Взять хотя бы столь мало удаленный от города район, куда судьба забросила нашего героя— и вы уже не в России—это другая страна, здесь другой народ. Вы—на Слуховщине.

Скажете, что нет такой страны, что нет такого народа,—приезжайте и убедитесь. Вы скажете,— это русские? Спросите у любой бабы, русская она или нет,—и она вам ответит:

— Не... Мы—слуховщинцы. А русские там живут—за лесом. Вот эту деревню пройдешь—там и будут русские.

Слуховщинцы от русских не отличаются языком—может быть, осталось от давних времен некоторое смягчение задненебных; может быть, иногда тот самый звук, который в прежней грамматике обозначался буквой ять, они выговаривают как «и»; может быть, несколько смягчают и наши твердые знаки—но эти отличия не имеют

существенного характера. Они мало отличаются и бытом, разве что больше других сохранили приверженность к старине и обладают большим достатком. Если спросить русского, ткнут ли его бабы плотно—получишь ответ:

— А на что нам? Теперь только на Слуховщине и ткнут.

На Слуховщине держат больше коров, на Слуховщине строят более основательные по крепости и более обширные избы, на Слуховщине, наконец—и это самое главное—все плотники, или столяры, или маляры. От них занялись этими ремеслами и жители окрестных «русских» деревень, но куда им в искусстве до слуховщинцев!

Конечно, герой наш не мог заметить столь тонких особенностей края. Да и как он мог заметить эти особенности, если любая деревня показалась бы ему новым царством, новой страной. Он равнодушно шел между двумя порядками высоких из восьмивершкового леса строенных изб, не обращая внимания ни на мальчишек в изумлении останавливающихся посреди дороги, ни на баб и молодок, любопытствующих посмотреть городского гостя, ни на те немногочисленные признаки, которыми эта пореволюционная деревня отличалась от дореволюционной. Он не заметил невзрачной вывески—«изба-читальня», ни запер-

той на замок лавочки «слуховского потребительского общества», ни избы, на всротах которой начерчено было мелом одно только слово: «к о м с о м о л». Он шел через деревню в указанном Михалком направлении и, дойдя до двухэтажного дома с зеленой крышей, где помещался волисполком, поднялся во второй этаж; увидев там за изрезанными ножами столом двух мальцев, записывающих в толстые исходящие и входящие книги, сразу почувствовал себя в родной обстановке.

— Председателя можно видеть?—спросил он.

— Нету.

— А секретаря?

Ему показали на легкую тесовую перегородку, с закрытой дверью из тонкой фанеры.

— Отдельный кабинет,—подумал Бобров, — и без предупреждения открыл фанерную дверку.

В тесной комнатушке, которую при всем желании нельзя было назвать кабинетом, сидел секретарь—блондин с опущенными по-хохлацки длинными махровыми усами. Секретарь поднял голову, посмотрел на гостя с некоторым недоумением—гость тоже посмотрел на секретаря с недоумением, и оба они с минуту молча смотрели друг на друга.

— Бобров,—узнал, наконец, секретарь.

— Самохин,—вспомнил, наконец, Бобров.—Ты как сюда попал?

— Я-то что—а вот ты как?—в свою очередь удивился Самохин.

Оба имели одинаковое право удивляться: пять лет тому назад работали они вместе в политотделе дивизии—с тех пор не встречались ни разу—и вдруг встретились снова при таких необычных обстоятельствах.

— А я тут давно живу,—рассказывал Самохин:—ведь у меня жена с этой деревни. Приехал посмотреть, да и застрял. Время было голодное, подвернулось учительское место...

— А разве ты не секретарь?

— Временный... А главная моя специальность, если хочешь знать,—культурный хозяин. Земледелием занимаюсь.

— Ну?

Делом одной минуты было сложить бумаги и уйти, оставив дверь «кабинета» открытой.

— Если кто спросит—скажите, что секретарь домой ушел,—объяснил Самохин своим делопроизводителям.—Пойдем ко мне. У тебя машина что ли испортилась? На мосту провалился?

Самохин ухмыльнулся:

— Тут всегда так. Ну а пока машину чинят, посидишь у меня, отдохнешь. Я тебе все хозяйство покажу...

## XI

Татьяна верила преданьям.

*А. Пушкин.*

Трудно себе представить более разную судьбу двоих в общем одинаковых по образованию и воспитанию людей, как Бобров и его товарищ—Самохин. Недавно построенная изба из такого же, как у всех крестьян восьмивершкового леса, показав на которую, Самохин с гордостью сказал: — Мой дом. Сам строил.

Обстановка этой избы—стол из неоструганных досок, самодельные табуретки, неизбежный портрет всероссийского старосты, помятый, но ярко начищенный самовар, чашки с отбитыми кромками, чайник с луженым носом, рваная не первой чистоты домотканая салфетка.

В самоваре—неизбежное деревенское угощение—яйца.

— Собственные яички—кохининок развожу—курица не простая. Смотри, какой вес в яйце,—хвастал Самохин,—только одна беда—болеют очень. Из десятка только две и клались, а остальные испортились почему-то...

В чашки налит чай, природный аромат которого был заглушен запахом деревенской потребилки—т.-е. отдавал не то мылом, не то керосином, не то тем и другим вместе.

— Я тут культурное хозяйство веду, — продолжал рассказывать Самохин, совершенно не интересуясь делами своего гостя:—огород у меня первый на деревне. Сад развел—яблоки скоро будут. Пчелы. Турнепсом целую полосу засеял. Замечательный турнепс!

— Что же—мужики подражают тебе, учатся?—чтобы хоть чем-нибудь выразить внимание хозяину, спросил Бобров.

Самохин нахмурился.

— Как сказать. Чему учатся, а чему и нет. Турнепс тоже некоторые посеяли,—а вот насчет скота не больно. Не верят, ждут, что получится... Они на моих неудачах учатся—а я и сам кое-что от них беру. Книжки тоже помогают... Вот у меня книг-то,—показал он на пачку брошюр по сельскому хозяйству.—Только книга одно, а на практике и предвидеть нельзя, что получается. Я бы тебе рассказал, как обзаводиться начал,—целый роман. Ты не пишешь?

Бобров писать никогда не пробовал.

— Напрасно,—у меня огромный материал. Я в газету писал—кое-что напечатали.

Самохин говорил без усталости—долгое сиденье в деревне располагает к разговорчивости: когда-то еще встретишь человека одного с тобой уровня развития.

— Заняться у меня? Подражать? Да меня два года на смех поднимали. Учил бы, говорят, ребят, не за свое дело берешься. А я их в первый же год удивил. Искусственного удобрения достал: где они меру сняли, я—две. Сразу поверили. Сунулись в город за удобрением—а им нос: нету. И я с тех пор, сколько ни хлопочу, достать не могу. Куда только оно подевалось...

— Вот что я скажу,—перебил Бобров:—мне надо ваш лес посмотреть. Я, признаться, за тем только и приехал.

— Дело. Стоит, чего посмотреть. Только на что он тебе?

— Стройка у нас начинается, просили выяснить—годен или нет.

— Как же не годен. Уж если такой лес не годен, какой же годен то? Ведь и моя изба из этого леса. Только одна беда—наши мужички лесок-то своим считают.

— Как так своим? Я в лесотделе справлялся—госфонд.

— То-то и есть, что в лесотделе. А вы бы у наших мужичков спросили. Они лучше знают. Их лесок, заповедный, замоленный, с иконами обхоженный, покой веку их. Начнешь рубить, так завоют.

Трудно предвидеть, когда и где наткнешься на препятствие. Ты думаешь, что достаточно

обломать десятка два советских чиновников, ты думаешь, что достаточно получить согласие зем-отдела и лесотдела и лесничества, ты думаешь, что эти многообразные органы вольны казнить этот лес, предоставив его неумолимому топору лесоруба, и вольны миловать, предоставив ему сгнить на корню,—а тут вдруг какие-то «мужички».

— У них не спросят,—ответил Бобров.—Меня другое интересует—сохранился лес или нет. Может быть, миф один—только пеньки торчат.

— Что ты! Пятьдесят лет топор не притрагивался. Разве что какое старое дерево среди леса срубят. Я тебе говорю—заповедник. Тут одна штука затесалась—как бы тебе объяснить—суеверие, что ли.

— Суеверие?

— Я потом расскажу,—а пока пойдем лес посмотрим.

Прятели вышли за околицу. Навстречу им две лошаденки надрываясь тащили выпачканный в грязи, поломанный, хромающий на одну ногу автомобиль.

— Твой что ли?—спросил Самохин.

— Мой,—ответил Бобров, и, обращаясь к шоферу:—Сегодня не уедем?

— Где там,—безнадежно ответил шофер, и потащился вслед за своей машиной, такой же

чужой и ненужной в этой обстановке, как и его заграничный автомобиль.

— Замечательный лесок—тысячу верст прой-  
дешь, такого не сыщешь,—говорил Самохин, обра-  
довавшись новой теме для восхищений. Все  
у этого человека было замечательно—начиная  
с его показательного турнепса до кохингинок,  
почему-то не желавших нести яйца, и чайника  
с отломанным носом. И вместе с полупрезритель-  
ным чувством самодовольного горожанина возни-  
кало у Боброва и легкое чувство зависти,—вот  
он, Бобров, человек, казалось бы, поставленный  
неизмеримо выше на общественной лестнице, чем  
Самохин,—человек, которого ждет если не бле-  
стящее, то во всяком случае хорошее будущее,—  
доволен ли он? Радуют ли его в такой же степени  
те успехи, которых удалось достигнуть?

Дорога вела от деревни в низину. С горы,  
от околицы виден был черный массив векового  
леса, за ним—желтые, сливающиеся с горизон-  
том холмы, похожие на закатные облака.

— Наши слуховщинцы говорят—тут озеро  
было. Я по старинным картам проверял—ничего  
не нашел, а если по названиям судить, то пре-  
дание вполне справедливое. Вон этот мысок, вы-  
ступает языком к деревне,—до сих пор называется  
Черным заливом. А вон та деревушка на го-  
ризонте—видишь?

Бобров сколько ни напрягал зрение—не мог увидеть на горизонте никакой деревушки.

— Эта деревушка называется Заозерье. Там уж русские живут.

— А у вас кто же? Разве не русские?

— Это уж так говорится. Что город, то поров... У нас Слуховщина, а жители называются слуховщинцы. Так уж со старины ведется. Может быть, спросишь у Михалка, он наврет по этому поводу...

— Что за Михалок? Пстой, да он, кажется, меня к себе приглашал.

— А ты зайди—не пожалеешь. Тоже своего рода фрукт. Слуховской патриарх. Посмотри. Так вот, старики рассказывают, что тут озеро было, не на их памяти, а на памяти дедов их что ли.

— Куда ж оно делось?

— В землю, говорят, ушло. Всякую пустяковину брешут: было, говорят, тут озеро, и водилось в нем рыбы несметное, или, как они говорят, несусветное множество. А в этом озере, как полагается, водяной проживал, со своими водянятами, конечно. Жить ему тут в глуши видно было скучновато—повадился он на реку ходить, с тамошним водяным на мельнице в картишки резаться. Нашему водяному и не повезло: проигрался в пух-прах. «Ставлю, гово-

рит,—все озеро на карту».—«А где же ты жить будешь?»—«К тебе в работники наймусь». Ладно. Сдали карты,—а он опять проиграл. И только-что он проиграл,—как вода в озере забулькала, закружилась да и сошла. А потом лесом заросла, и к этому лесу запрещено было касаться.

— Сказка,—понятно,—возразил Бобров.

— А ты дальше послушай, что говорят: вздумалось одному барину,—это уж на нашей памяти,—не на моей, а тех стариков, что эту сказку рассказывают,—лес вырубать. Начал он рубить,—ан опять вода! Испугался, бросил. С тех пор и устроили заповедничек.

Лес отделяла от дороги неширокая болотинка, заросшая глубоким и мягким мхом.

— А мы не провалимся тут в ваше озеро,—спросил Бобров, почувствовав влагу под башмаками.

— Здесь—нет. Вот туда подальше, будто бы окна есть—можно и провалиться. А мы по тропиночке идем—безопасно. Вот тут, прямо—я тебе нашу достопримечательность покажу — слуховая сосна, от которой всему месту название пошло. Замечательная вещь!

Путники миновали мшарину и вышли на опушку леса, где росли вперемежку низкорослые березы и мелкие, словно бы обгорелые, сосны.

— Вот эта канавка называется второй обход. До границы можно рубить,—а дальше нельзя. Только после революции вольности пошли,—то тут, то там, глядишь, деревцо срубят, да и то немного, а чтобы, под ряд в одном месте,—ни-ни! Строгость большая. Сами же деревенские бока наломают. Теперь тут и лесничество имеется, и делянки, и охрана, да покамест спор идет, никто не рубил. Центр к этому лесу подбирается.

— Теперь решено,—отдадут нам.

Путники углублялись все дальше и дальше в заповедник. Старые ели, упираясь корнями в сухую, без единой травинки и гладкую, как паркет, землю, сплетали вверху непроницаемую для солнца крышу, и в лесу, несмотря на солнечный день, было темно, как в сумерки.

— Там дальше сосняк идет, повеселее будет,—сказал Самохин, заметив некоторую робость, которая не может не охватить непривычного человека в диком лесу: зато уж тут грибов сколько—всю зиму кормиться можно. Смотри—вот белый!..

Самохин нагнулся и вытащил из земли большой с красновато-коричневой шляпкой гриб и, тщательно отряхнув корешок от земли, спрятал в карман.

— А теперь немножко налево—будет сосна.

Стало много светлее. Опять пошел мох, заросший жесткими листьями брусники, высоким, теперь оборванным, чернишником и кустами болиголова. Медноствольные сосны уносили в недостижимую высоту свои легкие мохнатые верхушки.

— Теперь недалече слуховая гора или остров, как тут говорят. Лазать умеешь?

Бобров невольно взглянул на свои новые, тщательно выглаженные брюки и на простые, из так называемой чортовой кожи сшитые, штаны своего приятеля.

— Ничего! Надеюсь, не разучился!

Остров оказался самым настоящим островом. Возвышаясь сажени на три-четыре над лесом, он оставался голым,—и только посередине росла вековая сосна, не раз пострадавшая от молнии и ветра, о чем говорила поломанная верхушка, расщелины в стволе и обожженные корявые сучья.

— Полезай выше—послушаем.

Бобров и его товарищ забрались на первый толстенный сук, а оттуда, перебираясь с одного сука на другой, на вершину сосны. Сверху виден был лес, и деревня, и даже зеленая крыша волисполкома.

— Ну теперь крикни. Только погромче,—а то ничего не услышишь.

— Эй!—закричал Бобров.

— Эй! Эй! Эй!—еле слышно, но достаточно внятно отозвалось со всех четырех сторон.

— Здорово,—восхищенно проговорил Самохин, и ему опять еле слышным шепотом отозвалось:

— Здорово! Здорово! Здорово!

— Говорят, что это водяной тоскует. Хочется ему опять на старое насиженное место вернуться, да нельзя. Крикнешь «эй!»—водяной из-под земли тоже отвечает: «эй!» А его внуки и правнуки, из каких только незнамо мест, тоже кричат: «эй!» Вот как это у нас разукрасили,—а наука, небось, очень просто объясняет.

— Сколько же у вас туману напущено...

— У нас ли только? Что ни деревня, то свой туман. А все-таки лес хороший.

— Лес—первый сорт. Туман этот нам же на пользу выходит,—рассудил Бобров,—кабы не он, не было бы тут ни лесники. А теперь целый город выстроим... Небось, если сейчас не рубить, он пропасть может?

— Пожалуй?—согласился Самохин:—перестоя не мало. Лес прямо под топор просится,—грех не рубить. А начин,—так завоют, небось... Боюсь я,—какой бы истории не вышло.

\* \* \*

Автомобиль к вечеру не был исправлен, несмотря на все старания шоффера, и Юрию Сте-

пановичу поневоле пришлось заночевать на Слуховщине. Самохин познакомил его со своей женой, высокой и дородной красавицей, к тому же большой поварихой. Она успела приготовить нечаянному гостю специальных слуховщинских полуржанных, полупшенничных блинов, секрет которых неизвестен ни одной из составительниц поваренных книг, тем более нам с вами. Блины эти были не толще листа хорошей бумаги и были подсушены так, что хрустели на зубах, и в то же время таяли во рту, как масло.

Юрий Степанович не успел проглотить и двух блинов, не успел выслушать и двух сообщений Самохина о двух замечательных вещах в его хозяйстве, как в дверь остороженюшко постучали.

— Кто там? Войди!—пригласил Самохин.

Дверь открылась, и в избу вошел известный нам Михалок.

— Гости у вас?—спросил он, предварительно перекрестившись на несуществующие образа:— Доброго аппетита... А я к вам...

— Садись и ты гостем будешь. Не откушаешь ли блинчиков?—предложила хозяйка.

— У них на масленице жирной водились русские блины,—скороговоркой ответил Михалок и примостился на краешек лавки. Несколько минут он сидел молча, не решаясь начать разговора.

## ХП

Глава халдейских мудрецов,  
Гадатель, толкователь снов.

*А. Пушкин.*

Воспользуемся этими немногими минутами молчания, чтобы объяснить неожиданное появление Михалка.

Приезд Юрия Степановича в глухую деревню, а Слуховщина была глухой стороной, несмотря на близость к городу,—не мог не заинтересовать мужиков. Из разговоров ли с шоффером, из факта ли лесной прогулки, или просто, что называется, верхним чутьем они поняли, что Бобров приехал недаром и что поездка его имеет отношение к судьбе заповедного леса, о котором в течение трех лет шли нехорошие слухи.

— Лесок-то? Добрались!

— Не может быть.

— Он уж в секретаревой избе сидит.

Подходили к околице, смотрели вниз на заросшую лощину—древнее озеро, на все эти заливы и острова, смотрели с особенным выражением не то грусти, не то недоумения, не то жалости.

— Берегли, берегли,—а вот на поди...

— Грех рубить,—указывали старики.

— Грех не грех,—а лес наш. Хотим—рубим, хотим—бережем,—возражали молодые.

Но и старые и молодые одинаково были недовольны.

К вечеру разговор превратился в общий и непрерывный гул. Поговаривали уже не о том, что вот приехал не знай кто, не знай зачем,—говорили прямо, что лесу грозит опасность, и обсуждали, каким бы путем спровадить нежданного гостя так, чтобы он никогда не возымел охоты вернуться на Слуховщину.

— Не дадим рубить.

— Прогоним,—говорили самые смелые.

— У председателя бы спросить—правда ли,—указывали осторожные.

— Что знает твой председатель? На шут он нам,—отвечали другие, совершенно резонно полагая, что председатель по самой должности своей не имеет права сочувствовать им.

Надо было найти авторитет более крепкий, более устойчивый, а главное более независимый. Таким авторитетом оказался Михалок.

Кто же такой Михалок? Седовласый патриарх, вождь лесных мужиков, некоронованный властелин древней Слуховщины, потомок Ильи Муромца, богатырь?

Ни то, ни другое, ни третье. Что может быть замечательного в этом низкорослом мужичке, подвижном и словоохотливом, с серой бородой, с карими, лукаво улыбающимися глазками. Слава

Михалка основывалась главным образом на его учености.

Что же такое ученый человек, в том смысле, в каком Михалок являлся ученым для своих однодеревенцев? Известно, что каждый из таких ученых людей должен знать и уметь что-то особенное, чего не знает и не умеет другой, и при том умение это должно дойти у него до возможного предела. Если он умеет читать,—он должен прочесть всю библию от крышки до крышки и утвердить свою башковитость, не помешавшись от этого рассудком. Если он умеет писать,—он должен уместить поэму «Демон» на простой открытке. Если он умеет считать,—он должен в любое время с точностью до единицы ответить на вопрос о количестве населения бывшей Российской империи по последнему довоенному календарю.

Михалок был замечателен тем, что умел и писать, и читать, и считать, да кроме того слыл еще знахарем. Так он не только прочел всего Пушкина, но знал наизусть наиболее длинную из его поэм, откуда мог к делу и не к делу привести точную цитату. Он умел написать любое прошение и притом так хорошо, что самый знаменитый юрист не смог бы разобрать его смысла, и в то же время—прошение трогательное до слез. Многие уверяли, что Михалок досчитал до миллио-

на, прибавляя к каждому числу только по единице,—но проверить, действительно ли у него хватило на это терпения, никто не мог. Знахарство же было самой изумительной способностью Михалка: так, он давал от лихорадки какие-то особенные порошки, которые болезнь, как рукой, снимали, давал какую-то особенную мазь от ревматизма, а из смородиного листа умел изготовить чай, по цвету не уступающий китайскому. И настолько умен был Михалок, что когда началось гонение на знахарей, ни его порошок, ни его мазь нисколько от этого гонения не пострадали, тем более, что порошок оказался простым хинином, купленным в аптеке губмедторга, такого же происхождения оказались и все остальные средства, применяемые Михалком.

Если добавить к этому, что в делах общественных Михалок предпочитал оставаться в стороне, умел, где надо, смолчать, но в то же время умел, где надо, сказать нужное слово,—то вполне будет понятна его репутация не только ученого, но и умного человека.

Вот к этому-то ученому и умному человеку обратились крестьяне. Михалок сощурил глаза; хитро подмигнул:

— Я вам сейчас всю подноготную выведу.

И направился прямо к Самохину, чтобы из первых рук получить необходимые сведения.

— Меж тем как сельские циклопы российским летчат молотком изделие легкое Европы—вы отдыхаете, товарищ комиссар?—с первых же слов блеснул Михалок своими поразительными знаниями.

— Вы стихами?

— А что же,—гордо возразил Михалок.—Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Как вам лесок понравился?

Бобров после разговоров с Самохиным решил быть настороже.

— Лес превосходный. Особенно отголоски у вас—нарочно стоило из-за одного этого с'ездить.

— Отголоски у нас во как слышны,—схитрил Михалок:—в городе рубят, а у нас слышно. Говорят, строчка у вас затевается?—и не дожидаясь ответа, продолжал:—Хорошее дело, давно пора. Был я недавно в городе—теснота. Как только и живут.

— Говорят-то говорят, да выйдет ли что,—ответил Бобров.—Три года говорят, а все без толку.

— Дельного человека не было,—с легким намеком ответил Михалок—так, чтобы его собеседник понял: не таись, мол, добрый человек, все знаем.—А ведь наша сторона плотничья, работенки нет, а с земли не проживешь...

— А вот Самохин говорит, что лучше нет, как с земли жить. Вы бы турнепс сеяли,—возразил

Бобров, кивая на своего товарища, который внимательно следил за разговором.

— Посешь блинков-то, что ж ты,—сказал Самохин, обращаясь к Михалку.—Видишь, какое благо земля родит.

— Отведаем и блинков. Будь вашей хозяйке доброго здоровья: блинчики отличные. А вот наши мужики все о леске беспокоятся,—начал он напрямик, отчаявшись взять собеседника окольным путем.

— Чего ж им беспокоиться?

— Поговаривают, что с зимы рубить начнут.

Михалок смотрел в упор на Боброва, стараясь уловить каждое его движение. Бобров в эту минуту был особенно увлечен блинами.

— Не знаю,—ответил он,—это не по моей части. А на мой взгляд, почему бы и не рубить. Лес под топор просится.

— Я про то и говорю. Давно бы пора рубить. Чего ему зря-то стоять без пользы. Только,—шопотом добавил он,—мужики наши... Темнота. Слышать об этом не хотят. «Наш,—говорят,—лес»—и никаких. По темноте своей думают, да по несознательности, что коли лесок под боком бог уродил, так он и ихний...

Михалок рассыпался мелким лукавым смешком, показывая тем, что он вовсе не считает мужиков такими темными.

— А ваш лес, так кто ж его рубить будет?— наивно спросил Бобров.

Михалок, совершенно отчаявшись узнать что-либо определенное от не менее хитрого, чем и сам он, гостя обратился к Самохину.

— Может быть, он нам в городе трактор поможет раздобыть. А?

И обращаясь к Боброву:

— Вот—надумал наш Евгений порядок новый учредить. Трактор покупаем.

— Это я их на трактор подбил,—объяснил Самохин.—Михалок сразу согласился, а другие нет. Не хотят.

— Хотят-то хотят, да их карман не хочет.— Ну, мне пора. Заходите, товарищ, как приедете. Насчет плотников больше никуда—только ко мне. Досвиданьице...

\* \*  
\*

— Где изволили пропадать, —встретил Боброва Галактион Анемподистович:—а мы тут и без вас одно дельце обделали. Лесок-то нам отдают.

— На Слуховщину ездил.

Галактион Анемподистович руками развел:

— Ну! Уж и прятки мы с вами,—это да. На Слуховщину? Какой там лес? Вырублен без нашей помощи?

Выслушав подробное сообщение о поездке, Галактион Анемподистович призадумался.

— Так вот где таилась погибель моя... Православные не хотят. Заповедничек. А это вы правильно сделали, что не проговорились этому, как его—Михалку что ли. А впрочем, пустое дело. Справимся. Едем в контору—там кой-какие дела...

С тех пор как принципиально было решено где-то и что-то строить и были отпущены небольшие покамест средства от губисполкома и небольшая же ссуда от банка, дело развернулось во всю. Юрий Степанович не мог теперь удовлетворяться паразитическим существованием где-то на фабричных задворках. Он добился квартиры из двух небольших комнат в центре города, неподалеку от всех остальных учреждений, и эти две комнаты сумел обставить с подобающей значительности предприятия пышностью. Большая вывеска над дверью,—золотом по черному, с наименованием предприятия,—кабинет, с печатным плакатом: «Заведующий Ю. С. Бобров», в кабинете большой письменный стол и кожаные кресла, канцелярия с тремя столами, при чем каждый из этих столов имел свое собственное назначение. За одним из них должен был сидеть заведующий производственно-техническим отделом Галактион Анемподистович Иванов, которому, по правде, сидеть здесь было и некогда и незачем, за другим

должен был находиться Метчиков, бегавший вместе с Бобровым из учреждения в учреждение, пробивая всеобщую бюрократическую косность и равнодушие, и только за третьим столом постоянно сидел управляющий делами товарищ Алафертов.

Алафертов явился тотчас же, как только дело получило некоторую видимость реального.

— Ты обещал,—сказал он Боброву и не забыл напомнить самой малейшей из услуг, которые он оказал делу.

— Кто тебя с Муссей познакомил? Ты бы без этой бабенки ничего не добился. Сидел бы на своей Грабиловке... А теперь назад хочешь играть?

Особенного желанья видеть постоянно перед глазами старого товарища и друга детства, который называет его «ты» и «Юрка» и может в любой момент познакомить совершенно постороннего посетителя с одним из мелких, но очень неприятных эпизодов его биографии, у Боброва не было,—но отказать Алафертову он не смог.

— Вот что,—условился Бобров,—я сделаю все, чтобы ты работал у нас, только забудь при посторонних о наших отношениях. Я—только твой начальник, не больше.

Алафертов пошел на все—и немедленно же прочно обосновался за управдельским столом.

Ему понадобилась машинистка—и эта машинистка тотчас же нашлась: барышня лет восемнадцати, с локонами, закрученными на висках в кольца. При всех Алафертов называл ее Александрой Петровной, а наедине—Щурой и всегда прекрасно отзывался о ее работе.

Автомобиль, стоявший во дворе и каждую минуту готовый к услугам Юрия Степановича, телефон, бланки нескольких сортов, в том числе именные—вот и все, что было покамест единственным результатом деятельности нового предприятия.

Но не будем строго судить нашего героя за его увлечение внешностью—двигавшей силой здесь была не только любовь к внешности,—а у кого ее нет?—но прежде всего интересы дела.

Кто не понимает, как много означает для нашего времени внешность? Счастье тому, кого природа снабдила громким ли голосом, чтобы он мог кого угодно перекричать на заседании или совещании или в комиссии, тучной ли и солидной фигурой, чтобы самый вид его внушал неограниченное доверие, родственниками ли среди сильных мира сего. Такие счастливицы не нуждаются в особой обстановке—человек же, подобный Боброву, не имеющий ни громкого голоса, ни солидности, ни родственников среди сильных мира сего, должен компенсировать все эти весьма суще-

ственные для деятеля недостатки прекрасного качества письменным столом, отдельным кабинетом, автомобилем и молодым красавцем в качестве управляющего делами.

Юрий Степанович, едва поздоровавшись с Алафертовым и на ходу кивнув машинистке, прошел в кабинет. За ним последовал архитектор.

— Приятно эдак себя буржуем почувствовать,— сказал Галактион Анемподистович, усаживаясь в кресло:— до сих пор привыкнуть не могу.

Основным делом была заготовка леса. Новые препятствия не могли остановить начатой работы, договор с лесным отделом был подписан, и затребованы машины для лесопилки, которую предполагалось оборудовать хозяйственным способом. Вопрос шел о новом сотруднике, который взял бы на себя заготовку леса и других строительных материалов, или, как выражался Юрий Степанович, об организации заготовительного отдела.

— У нас ведь есть кандидат,— напомнил Галактион Анемподистович.

— Какой кандидат?

— Память-то у вас! Палладий Ефимович Мышь. Бобров поморщился. Если он, скрепя сердце, пошел на Алафертова, то ведь Алафертов был все-таки Алафертов,— а тут какая-то Мышь.

— Обещано, а вы назад. Да ведь такого деятельного человека, как Палладий Ефимович, нам с

огнем не найти. Сами просить придем,—а вы морщитесь.

— А он не...—Бобров долго искал нужного слова, но не нашел:—он не жулик?—откровенно спросил он.

— Ну, что вы, Юрий Степанович. Разве ж можно так. Деловой, я говорю, человек, и к тому же обещано. А вы—жулик! Да если бы и жулик, вам-то что? Под судом не был, состоит на советской службе...

Эти слова несколько примирили Боброва с личностью Палладия Ефимовича.

— Все-таки—рожа пренеприятная...

— Нам не рожа нужна, а работник!

Покамест происходил этот разговор, Алафертов успел приготовить бумаги и явился с докладом: форма строго соблюдалась в том учреждении, фактическим главой которого был Юрий Степанович Бобров.

— Отношение в губземотдел, договор... Лесное управление... Требование о доставке недостающего оборудования,—кратко докладывал Алафертов содержание бумаг.

Юрий Степанович подписывал бумаги с деловым и серьезным видом. Он, несмотря на недавнее выдвижение на должность начальника, словно бы от роду владел всем тем, что для хорошего начальника необходимо. И голос у него звучал теперь

несколько грубо и отрывисто, и движения были такими, словно его оторвали от необходимейшей работы, чтобы мучить ненужными подписями, и сидел он так, как должен сидеть только энергичный и умный начальник—одна нога в абсолютном покое—знак внимания к делу, другая нога куда-то торопится, она готова нет-нет сорваться с места—знак энергии и деятельности.

— С лесом возможны затруднения,—сказал Бобров, тоном распоряжения, после того, как кончил подписывать бумаги:—соберите необходимые справки.

При том сам он прекрасно знал, что никаких справок собирать не нужно, что за справками пойдет или он сам, или Метчиков, или архитектор,—но необходимый декорум должно было соблюсти.

— Готово ходатайство о ссуде?

Алафертов показал толстую тетрадь аккуратно переписанную машинисткой: тетрадь эта включала и план, и объяснительную записку, и протоколы.

— Нужна подпись товарища Лукьянова. Я свежу ему лично.

Алафертов собрал бумаги и вышел.

Галактион Анемподистович зорко наблюдал эту сцену и, когда Алафертова уже не было в кабинете, подмигнул Юрию Степановичу:

— Работаем?—спросил он.

— А? Что?—сохраняя отрывистый начальственный тон, спросил Бобров.

— Да ничего,—серьезно ответил архитектор.— Работаем.

### ХШ

Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть на вытяжку перед умом.

*А. Марлинский.*

Встречи с Ньюрой становились все более и более редкими.

— Ты совсем забываешь меня,—робко жаловалась она, опасаясь проявить непростительную для передовой женщины слабость. Ведь она знает, что «дело»—прежде всего. Но в то же время она не менее хорошо знает, что при желании можно бы видеться чаще, но...

— Ты бываешь теперь у нее?.. У этой?..—спрашивала она иногда, стараясь и тоном и выражением лица подчеркнуть праздность этого вопроса.

— Ну, а как же? Надо!

Встречались они теперь в комнатке Ньюры на Гребешке. Ньюра старалась как можно скрасить неприглядную обстановку: ожидая его, она украшала стол букетом полевых цветов или ветками осенних кустарников и сама прихорашивалась,

наряжалась, даже немножко пудрилась и подкрашивала губы. Все это было так непростительно, так отстало, так не подходило к ее роли передовой женщины, которую она продолжала играть, бросая невпопад словечки—из упомянутого ли наречия, именуемого блатной музыкой, из учебника ли политграмоты Коваленко.

И в то же время она стала чаще задумываться, смотрела на него слишком серьезно и пристально, как бы стараясь запечатлеть его черты—и тогда глаза ее делались большими и глубокими.

— Ты завтра придешь?.. Мне скучно...

— Неужели ты не можешь заняться какой-нибудь работой,—отвечал Бобров.

Нюра не имела храбрости сознаться, что так называемая работа не увлекает ее и не избавляет от скуки. Оказалось в жизни ее что-то более сильное, чем почерпнутые в учебниках мысли, чем все, свято на словах признаваемые ею, авторитеты. И как раз об этом она не могла и не имела права говорить, этого как раз она не могла высказать, а может быть—и не умела высказать так, чтобы Юрий понял ее.

— Ты завтра будешь? Нет?

Бобров оправдывался делами, торопливо целовал ее и спешил как можно поскорее уйти от ее вопросов, от ее долгих, серьезных взглядов. Если бы Нюра проявила большую настойчивость

и требовательность, если бы она открыто стала ревновать его—может быть, он нашел бы в себе воли открыто порвать с нею. А сейчас? Что он мог сказать ей, чем он мог оправдаться перед своей собственной совестью, которая тоже наперскор всем вычитанным и надуманным взглядам и мыслям не могла не тревожить нашего героя.

— Чего она хочет? Чтобы я жил вместе с ней. Мещанского счастья, уюта, ребятишек...

Но прямо она не говорила ни о том, ни о другом—и Боброву поневоле приходилось тянуть эту опостылевшую ему игру в любовь, которая так увлекала недавно.

— Сказать, что я полюбил другую?

Но была ли любовь к этой другой? Муся? Если бы кто-нибудь сказал Юрию Степановичу, что он влюблен в Мусю—разве бы он не засмеялся тому прямо в лицо? Муся нужна для дела, Муся его старый друг, Муся—опытный советник,—но любить ее... Во-первых, она вовсе не красива. Нюра, если пошло на то, гораздо красивее. Во-вторых, она почти замужняя, и, следовательно, он должен оспаривать ее у кого-то другого, что не так уж приятно. А в-третьих,—в-третьих, Муся такая женщина, которую можно взять, когда только вздумается. Ведь она—принадлежит всем...

Нет, не любовь, а именно дружба связывает их. Их связывает, наконец, общее дело. Муся интересуется этим делом, как своим, она не только может посоветовать,—но сама берется за самые сложные дела, если они связаны с личными переговорами. Она может каждого убедить,—если не доводами рассудка, то, может быть, взглядом, капризным движением губ, более крепким, чем полагается, рукопожатием. Препятствия, непреодолимые для других, рушатся от одного прикосновения ее маленькой сухой и горячей руки.

Но дружба—дружбой, общее дело—общим делом, а постоянная близость с молодой женщиной не могла пройти бесследно для нашего героя.

Через неделю, примерно, после описанной нами поездки на Слуховщину Бобров сидел по обыкновению у Муси, слушая ее болтовню, в которой было так мало логики и ума и так много какого-то особенного смысла. То она вспоминала далекое время, когда встречались они на скамейке в губернаторском саду, то вдруг начинала рассказывать историю своего романа с каким-то офицером—из времен начала войны, то вдруг перескакивала на вопрос о постройках и вскользь передавала Боброву какое-нибудь важное для него замечание товарища Лукьянова.

Сидели они в полутьме—Муся не любила яркого освещения, потому что много проигрывали от

него ее женские качества, из которых первое все-таки красота—ее платье при малейшем движении прикасалось к нему, ее рука то и дело случайно, конечно, опускалась на его колени. Он при этом краснел, начиная говорить тише—она тоже понижала голос.

Полутьма, тишина, печальные прикосновения...

— Муся,—сказал он, положив ладонь на ее колено и другой рукой охватывая спинку дивана так, что Муся была заключена в эти, если можно так сказать, некасающиеся объятия:—я ведь тебя давно...

Муся вздрогнула, подняла на него холодные глаза, и он быстро отнял руку.

— Между прочим,—холодно сказала она,—я и забыла совсем:—час тому назад, вас искал архитектор. Звонил сюда. Он, наверное, ждет тебя в конторе.

Как могла она думать об архитекторе, о конторе, откуда вдруг этот холод? Разве она не знает, что хотел он сказать? Так резко выпроводить, выгнать вон, ведь никакого архитектора в конторе нет.

Бобров досадовал на себя, он ненавидел ее:

— Как она смела... Эта...

Мы не будем приводить того резкого эпитета, которым окрестил Юрий Степанович женщину,

виновную разве только в том, что она оказалась недостойной этого эпитета.

Архитектор, как это ни странно было, действительно ждал в конторе.

— Нескоро же, нескоро...

— Марья Николаевна забыла передать.

— Забыла? Что-то мало на нее похоже. А у меня важные новости—я бы сам пришел к вам, да боялся... Мало ли что вы там делаете...

Галактион Анемподистович рассмеялся жиденьким и, как показалось Боброву, гадким смехом.

— Оставьте—какие глупости.

— Не глупости... А разве вы...

В какой угодно момент, только не сегодня, мог бы Бобров спокойно выслушать такие обычные, казалось бы, намеки. Самое неприятное: эти намеки он должен выслушивать спокойно, должен не подавать и виду, что все происходит не так, как полагают люди, имеющие право намекать, и еще более неприятно: никто из этих людей никогда не поверит, что привязанность к Боброву со стороны Муси носит чисто платонический характер.

— Что случилось? Зачем вы меня искали?

Галактион Анемподистович выдержал соответствующую важности дела паузу.

— Рабочие наши вернулись. Со Слуховщины.

И выдержав еще более продолжительную паузу:

— Прогнали голубчиков. Наши — православные...

Такого оборота дела Юрий Степанович не ожидал.

— А стража? Надо послать отряд...

— Тише, тише,—успокоил его архитектор:— дело не такое уж серьезное. Никого даже пальцем не тронули. А вы таким комиссаром раз'ехались—ой-ой-ой! Никакого отряда—а нам самим туда поехать надо и потолковать.

— Кто же поедет?

— Да мы с вами поедем. Кому же еще? А трюсите—так я и один.

Бобров не мог сознаться, что он действительно трусил. А на самом деле нечто подобное было: толпа раз'яренных мужиков, топоры, колья—все атрибуты недавней гражданской войны...

— Я бы не торопился вас и звать, да на Лукьянова не надеюсь, может быть, он вроде вашего закричит: Отряд! Бунт—помилуйте!.. Соппротивление законным властям.

Архитектор искренно расхохотался.

— А по-нашему, просто погорячились православные, и их уговорить надо. Вы там у какого-то мужичка что ли были? Как его? Михалок? Я думаю, раз он влиятельное лицо, то с ним и поговорить надо. Это уж я на себя беру, а вы мне на подмогу. Официально тоже не мешает

человечка послать, да чтобы голос был погромче. Так и скажите товарищу Лукьянову. Требуется оратор с хорошим тенором. Ладно?

\* \*  
\*

Что же произошло за это время на Слуховщине?

Как только появились первые угрожающие признаки нападения на свято охраняемый заповедник, крестьяне всполошились:

— Всем миром клятву давали—а тут рубить,—говорили одни.

— Наш лес—не допустим!—говорили другие.

— Спокон веку грибом кормимся,—заявляли третьи.

И вдруг такое дерзостное покушение и на клятву, и на лес, и на растущие в этом лесу грибы.

— Не дадим рубить,—кричали коноводы.

Отправились к Михалку—Михалок согласился.

— Не надо давать. Отстоим.

Председатель совета пытался было уговорить своих сограждан, но начал не с того конца: он с первых же слов заявил, что лес по закону гсударственная собственность. Конечно, такие речи успокоить никого не могли, а только разжигали страсти:

— Ты поневоле ихнюю сторону держишь! Уходи—тебя не запутаем.

Председатель, который не мог не придерживаться старинного взгляда на лес, как на крестьянскую собственность, тотчас же замолчал и ушел от греха подальше.

— Гнать! Кто не хочет идти—пусть дома сидит: мы одни расправимся,—кричали коноводы.

Гнать все-таки не пришлось. Только прослышали рабочие, что готовится открытое нападение, только увидали лесники, что движется в их сторону угрожающая толпа, как и те и другие сочли за благо немедленно же убраться во-свояси. Мужики праздновали победу.

— Сказали, не дадим—и не дали.

Но, сделав свое дело, самые отчаянные крикуны и коноводы поняли, что за такие штуки может не поздоровиться и стали сговорчивее. В сельсовете по совещании с председателем составлена была жалоба на неправильное решение лесного отдела, и посланы ходоки в город.

Юрий Степанович вместе с архитектором прибыл в тот момент, когда ходоки уже отправились в город.

— Хорошая деревенька,—сразу оценил Галактион Анемподистович центральный пункт Слуховщины:—видно не плохо живут,—говорил он, показывая на крепкие, украшенные петушками,

коньками, узорами, резными ставнями избы слуховщинец.—А где же тут ваш Михалок?

— Дома Михайло?—спросил он, стуча в окошко Михалковой избы.

Из окошка высунулась голова самого хозяина.

— Добро пожаловать,—слащавым тоном сказал он, увидев Юрия Степановича.—Только я не Михайло, если вы ко мне, а Михалок!—добавил он, обращаясь к архитектору.

— Почему ж Михалок?

— Михайло моего старика-родителя зовут, а я покамест Михалок. А сын у меня—Миша. Так уж покои веков водится...

— Неужто и родитель жив?—спросил Галактион Анемподистович, входя в избу и крестясь на иконы. Жест этот, повидимому, расположил Михалка в пользу гостя.

— Жив, жив... У нас на Слуховщине долго живут. А вы что же, подрядчик будете?

— Наслышаны, что в вашей стороне плотники имеются,—ответил архитектор.

— Плотники? Да лучше-то где вы найдете! По плотникам мы, слуховские, на всю святорусскую первые. Плотники, резчики, столяры.

— А нам того и надо,—заклучил архитектор и по предложению Михалка уселся за стол.

— Самоварчик вам, может быть? Бабы-то нет, по грибы ушла.

Гести не отказались от угощения. Пока Михалок возился над самоваром, архитектор успел шепнуть:

— Ничего... Поладим. Они у нас и шуметь не будут.

— Тут бунт у вас что ли был,—спросил он Михалка. Карие глазки Михалка суетливо забегали.

— Какой же там бунт. Мы разве что. Мы понимаем...

— А понимаете, так зачем же вы такие штуки проделывали? Комиссия из города приедет.

— Я что ж—я в стороне,—пытался оправдаться Михалок.

— То-то что в стороне. Это правильное дело в стороне быть. Кто в стороне, тому ничего не будет.

Михалок был подготовлен к разговору. Ему польстили, пообещали и припугнули, но все это так, как сделал бы и сам Михалок,—намеком, обиняком, иносказанием.

— Известно, темный народ—разве они что понимают. В такой серости живем, света не видим. Так у вас строчка будет? Много народу требуется?

— Куда ж их много-то? Не больше, чем нужно. А главное, чтобы плотник был—за первый сорт. Тут, говорят, в Заозерье хорошие плотники,—закинул удочку архитектор.

— Зачем же вам в Заозерье? Разве ж они что могут супротив наших? Я вам скажу—не плотник, в Заозерьи, а лесоруб. Тонкую работу они могут сполнять? Не могут!—воодушевился Михалок.

— А мне говорили, что все могут. Что ж это у вас, к чаю-то ничего нет?

— Как же, как же... Яички, сладышки... Может быть, выпить желасте, живо найдем...

Пили чай, ели неизменные яйца, вчерашние холодные оладьи, говорили об урожае, о том, почему эта местность называется Слуховщиной, о плотничьем деле, о стройке по планам, при чем Михалок стремился блеснуть своими познаниями в этом деле.

— Мы еще в Заозерье с'ездим,—сказал в заключение архитектор.—Стоит ли?

— Зачем же вам в Заозерье? У нас возьмите—ближе ведь. О цене сговоримся...

-- Ближе-то ближе, да вы бунтуете.

-- Какой же бунт? Мы по закону. По закону присудят нам—значит нам. Не присудят—на то их воля...

— А вы-то чего так этим лесом дорожитесь? Весь его вам все равно не дадут, а рубить будут—и вы попользуетесь.

— Упаси боже,—ответил Михалок:—как же чужое-то... Срубишь, а потом и продать некому.

— Ну, некому. Разве ж на бревне написано, чье оно. На базаре и все краденными дровами торгуют.

— Верно, что на них не написано,—согласился повеселевший Михалок. Он стал еще больше суетиться, еще больше потчевать дорогих гостей и оладьями, и яйцами, и цитатами из своей любимой поэмы. Проводил он их тоже стихами:

— Увижу ль вас, и слез ручей у Тани льется из очей. Всего вам приятного... А в Заозерье зачем вам ехать? Разве ж они так могут, как наши? Где им...

— Сделано, — сказал архитектор Боброву, — если этот ваш Михалок такой умный, как кажется, то он весь наш. Тут ведь дело не в том, чего они могут добиться. Мешать будут. Тяжбу заведут, к Калинину поедут. Ну, а я его по губам помазал... Да тут еще и уговариватель приедет. Вы говорили Лукьянову? Да вот никак и сам он, собственной персоной...

Вдоль деревни на велосипеде ехал товарищ, из числа специалистов по ораторскому делу, вдруг заполнивших в короткий срок все наше необ'ятное отечество.

— Езжай, езжай—тут уж мы здорово подготовили...

## XIV

— На первый случай мне нужно безделицу—сущую безделицу, десять миллионов червонцев.

*В. Одоевский.*

Боброву не хотелось уезжать со Слуховщины, не повидавшись с Самохиным.

— Раз мы сюда попали—заедем к моему товарищу: культурный хозяин.

— Что ж, это интересно,—согласился архитектор.

— Не понимаю его—зачем кинуть в деревне. А человек честный, надежный, знаком с краем. Может быть, он нам пригодится?

— Дело хорошее. Надежный человек никогда не мешает—свой глаз.

Самохина дома не оказалось.

— В поле он, небось,—об'яснили соседи,—картошку копает. Пройдите туда—вот этим прогоном и направо...

Самохин, мурлыча под нос какую-то песенку, прохаживался по бороздам и подбирал картофель. В стороне стояло несколько полных мешков.

— Самохин!—окрикнул его Бобров:—один стараешься?

— А? Ты опять приехал? Смотри, какая картошка у меня уродилась. Замечательная!..

Увидев архитектора, он отрекомендовался:

— Культурный хозяин и здешний учитель...  
Руку не подаю — грязная.

— А картофель-то действительно хорош,— похвалил архитектор, поднимая с земли один из самых крупных экземпляров.

— Я им еще покажу, что тут можно сделать,— увлекся Самохин.— Они что: отберут самую мелочь—это, говорят, на семена. А на семена отборный должен идти.

— Правильно,— поддержал архитектор.

Самохин обрадовался человеку, готовому выслушивать его рассказы о своем хозяйстве. Он бросил работу, вытер руки о траву и, провожая гостей к своей избе, показывал по дороге все, что только могло их заинтересовать. И огород, и сад, и яблони, и пчельник, и им самим изобретенную щетку для выпалывания гряд, и своих замечательных кохынчинок. Боброва рассказы эти интересовали так же мало, как и в первый раз, но архитектор слушал внимательно, иногда соглашался, иногда спорил, иногда давал дельный совет.

— А вы с какими делами приехали?—спросил, наконец, Самохин:— Это не ваших ли рабочих вчера прогнали?

— Наших,— ответил Бобров.— Думаем, сегодня это дело уладить. Мы уж у Михалка были.

— Побывали? Вот это хорошо. Что ж он говорит?

— Мы уж ему пообещали кой-что,—сказал архитектор:—ведь ваши мужики все, почитай, плотники. Какой же им расчет с нами ссориться?

— Это, пожалуй, и так.

Когда вошли в избу и сели за стол, Бобров приступил и к основной теме.

— Не надоело ли тебе в деревне?—спросил он Самохина.

— Как сказать. Ведь у нас дело такое,—что ни день—новая работа. Зимой школа, летом хозяйство—когда ж тут надоест?

— А в город поехал бы? На хорошее жалованье, конечно. У нас работал бы.

-- Я ведь не плотник,—отшутился Самохин.

— Плотников и без тебя хватит, а нам честные люди нужны. Знаешь, какое дело постройка?—Подрядчики, торговцы—каждый только и думает обмануть. А тебе я, как себе самому, верю.

Самохин обрадовался похвале.

— Вот спасибо...

— Что ж, по рукам, что ли? Собирай пожитки да через недельку к нам...

— Ишь ты пряткий какой. Тут подумать надо.

-- О чем же думать то?

— А на кого я все это брошу!—ответил он и развел руками.

Разговор был прерван звуками глухого разбитого колокола. Этот пережиток древнего вечернего периода до сих пор сохранился по глухим деревьям.

— На сходку зовут,—объяснил Самохин.—Вам, небось, не мешало бы послушать, а при случае и поговорить!

— Зачем же нам говорить? Мы—подрядчики. Для разговору оратор есть.

Сход собрался прямо на улице у волостного исполкома. Мужики после вчерашнего возбуждения несколько успокоились и, собираясь в кучки, оживленно обсуждали события. Тут же, переходя от кучки к кучке, шмыгала маленькая фигура Михалка. Он, видимо, убеждал, уговаривал своих односельчан, играя роль тайного предателя тех, кто ему верил и его слушал. Приезжий оратор прочел длинный доклад о том, что рубка правильными деланками нисколько не повредит лесу, что в лесу и так уже много перестоя, что дальше беречь его нет смысла, что вопрос о передаче этого леса крестьянам решается в соответствующих инстанциях, но что, конечно, весь лес они не получают, и от порубки во всяком случае их часть не пострадает.

Сход шумел, гудел, сход был недоволен, но жожака не нашлось. Все ораторы выступавшие затем—и председатель волисполкома, и Самохин,

и представитель местного комсомола—все говорили одно и то же. Михалок, предпочитавший скрываться в задних рядах, ухмылялся в бороду, подталкивая своих соседей, и громче всех кричал:

— Правильно!

Все понимали: он что-то надумал—и тоже или молчали или кричали:

— Правильно!

— Наше дело сделано,—сказал архитектор.— Не пора ли нам домой?

— Вот еще с Самохином кончим. Ну как, решил, что ли—сдешь?—спросил Бобров, подзвав Самохина.

— Что ты? Я думал шутишь,—а ты серьезно. А уж, если серьезно, вот, что я скажу: не поеду.

Видно было по решительному тону Самохина, что он основательно обдумал вопрос. Но когда Бобров спросил:

— Почему же?

У Самохина не нашлось мало-мальски серьезной причины. Он только опять развел руками и, показывая вокруг себя, сказал:

— А это я на кого брошу?...

\* \*  
\*

Дело обошлось как нельзя лучше: вернулся землемер, вернулась стража, вернулись рабочие. Мужики сначала неодобрительно посматривали на

пришельцев, а потом попривыкли. Роптали только старики, ссылаясь на клятвы, на недобрые знаки, на грозящие, будто бы, за нарушение клятвы последствия. Но кто теперь слушает стариков?

А когда первое дерево упало под топором лесорубов, Михалок намекнул:

— А чего ж мы-то смотрим? Уж рубят...

Намек был оценен по достоинству, и началась рубка леса с двух концов: с одного конца рубили лесорубы правильными деланками, с другого конца рубили крестьяне, как бог на душу положит, рубили по почам, по почам же вывозили срубленный лес и складывали на задворки, ожидая неизбежного покупателя: тех же самых строителей, на которых работали и лесорубы. Михалок ходил гоголем, твердо помня обещания приезжего архитектора, и только ждал, что вот-вот его позовут в город на обещанную работу.

Но что же случилось с ходаками, с той жалобой, которая была отправлена крестьянами, с обещанием ее рассмотреть, с обещанием отвести им часть слуховщинского леса?

Этот вопрос требует небольшого отступления.

Мы, дорогие читатели, переживаем сейчас исторические времена. Об этом вы можете прочесть в каждой книге, в каждой брошюре, в каждой газете, в каждой репортерской заметке. Историческими наши времена и вполне справедливо

называются не только потому, что будущий историк с особенным вниманием остановится на нашей эпохе, но и потому также, что наша эпоха, как никакая другая, внимательна к этому будущему историку. Никогда, надо думать, так тщательно не подбирались самомалейшие документы, которые чем-либо могли быть полезны будущему историку в будущих его трудах. Никогда, надо думать, не хранились эти документы с такой бережностью в многочисленных архивах и канцеляриях, как имели в нашу эпоху. Каждое учреждение имеет теперь свой архив, но вовсе не с той целью, чтобы в любую минуту выдать вам соответствующую справку—справки у нас никогда не добьешься,—а единственно с тем, чтобы будущий историк мог лучше разобраться в злободневных вопросах нашей сегодняшней жизни.

Подобный архив имелся и в том учреждении, куда обратились крестьяне со своей жалобой. Жалоба эта показалась учреждению чрезвычайно интересной для будущего историка как документ великой эпохи и была немедленно водворена на соответствующей полке с обозначением: «Слуховская волость»—среди других столь же интересных документов.

Но если историк от этого выиграл—крестьяне только проиграли. Лес таял и таял, а ответа все не было, дело не разбиралось. О подобном

возмутительном случае волокиты и бюрократизма было сообщено в местную газету, но и местная газета оказалась столь же внимательной к интересам будущего историка и, несмотря на явный ущерб для живущих в наше время крестьян, водворило заметку в свой необъятный архив, устроенный по последним правилам научной организации труда.

\* \*  
\*

Юрий Степанович вернулся со Слуховщины в радостном и бодром настроении. Казалось, что все основные трудности позади—работа уже началась, и только от его собственной энергии зависит дальнейший успех. На объявленный управлением постройки рабочего городка конкурс стали поступать проекты. По идее Юрия Степановича проекты эти рассматривались самими рабочими и вот в одном из фабричных корпусов—выставка проектов. Многочисленные предложения, поправки и дополнения к выставленным проектам рабочих жилищ стали поступать в контору.

Интерес был возбужден, надо было этот интерес поддерживать, и вот: в фабричном районе—диспут на тему: «рабочее жилище».

Подробному обсуждению подвергались вопросы: строить ли большие общежития, нужны ли

общие кухни, какой тип построек лучше—одноэтажный или двухэтажный, нужны ли общие столовые. Вокруг каждого вопроса разгорались споры, споры эти перешли на страницы газеты, уделявшей ежедневно столбец рабочему строительству.

Юрий Степанович, автор проекта постройки и заведующий управлением, за короткое время успел сделаться самым популярным лицом на Грабиловке и Плешкиной слободе. Этому помогали и диспуты, и доклады, и газетные статьи, и личные беседы—Бобров готов был читать доклад в любое время и в любом месте, он готов был на улице дать каждому встречному подробный ответ на все его вопросы, он, наконец, умел каждый свой доклад и каждый ответ составить так, что его фигура, его личные заслуги выступали непроизвольно на первый план: и не было ли это заслуженным и, может быть, единственно ценным для него вознаграждением за проделанную им работу? Ведь старое правление кооператива за два года не успело сделать и сотой доли того, что сделал Бобров за несколько месяцев. Широкая популярность в рабочих кругах создавала Боброву особую репутацию и в среде сильных губернского города.

Словом, были налицо все признаки реальности выполнения задуманного Бобровым плана, были налицо все признаки несомненной удачи—и

вдруг кто-то одним росчерком пера сделал так, что из несомненной реальности проект снова стал неосуществимой химерой: из центра был получен отрицательный ответ на ходатайство с ссуде.

Может быть, только такого ответа и можно было ожидать, может быть, строители, увлекшиеся своим планом, не должны были забывать о существовании сотен других городов, в которых есть свои Грабиловки и Плешкины слободы, претендующие с одинаковым правом на широкое развертывание строительства; они, может быть, должны были знать, что средства государства невелики, что, наконец, просьба их несколько запоздала—все это, может быть, должны были они знать и предвидеть, но тем не менее отказ был воспринят ими как признак окончательной гибели дела.

Бобров, согнувшийся, жалкий, даже, постаревший, уже не мог соблюдать того тона, который был усвоен им в роли начальника предприятия. Архитектор потерял свою обычную шутливость и мрачно играл пальцами, сложив на груди маленькие руки. В соседней комнате не было Алафертова, который решил, что теперь не зачем аккуратно посещать канцелярию, и только машинистка, не решаясь войти в кабинет и сказать, что ей сегодня нечего делать, молча сидела в

конторе, глядя на свою замолкшую машинку, и от скуки поправляла перед зеркалом закрученные кольцами локоны.

— Ну так что же?—в сотый раз спрашивал Юрий Степанович.—Лукьянов советует возобновить ходатайство, думает, что пересмотрят...

— Улита едет. Покрепче бы что-нибудь. Что такое бумага—к бумаге и отношение бумажное. Поехать бы кому... Ведь мы уж дело начали, расходы произвели, лес рубим...

— Немножко зарвались...

Долгое, напряженное молчание.

— Теперь так,—вслух рассуждал архитектор:—мы будем настаивать, а нам скажут, почему именно у вас. Почему не в другом месте? И ведь они правы—вот в чем штука. Ратцель прав, А впрочем...

Он лукаво посмотрел на Боброва—Бобров посмотрел на него с надеждой.

— А впрочем,—продолжал архитектор, опуская глаза и как бы рассуждая сам с собой:—нам бы в этом деле здорово помог товарищ пожар...

— Кто?

— Пожар,—ответил архитектор.—Впрочем, это ерунда. Тридцать лет не горело, а теперь с чего... И, нахлобучив на голову кепку, архитектор молча вышел из конторы, предоставив Боброва его собственным мыслям.

Какие же мысли могли быть у нашего героя? Вот он держал уже, казалось, в руках сказочную жар-птицу, — а она, вильнув хвостом, вдруг улетела, не оставив нашему Ивану-Царевичу ни одного золотого перышка. Год еще, два еще—и он уже не сможет начать новой борьбы, он погибнет, он обратится в мелкую крысу советских канцелярий. Хорошее место, жена, дети, выступления с докладами, скромная слава хорошего работника и скромное уважение таких же скромных лиц...

— А что нужно? Какие-то пустяки! Ничтожная ссуда... Что это архитектор говорил о пожаре? А, ерунда! Всегда он скажет, что-нибудь... этакое...

## XV

Я хочу горящих зданий..

*К. Бальмонт.*

Обычно темное окно комнаты Боброва на Грабилловке было освещено.

— Кто меня ждет? Вот не во-время.

— Это ты, Нюра,—спросил он таким тоном, в котором чувствовалось явное недовольство.

— Ты что же,—не рад мне?—ответила Нюра с виноватой улыбкой, подавая ему руку.

— Конечно, рад,—поспешил ответить Бобров, стараясь выдавить приветливую улыбку, но вме-

сто того только нелепо ухмыльнулся: — Давно ждешь?

— А я тут убралась у тебя. В какой грязи ты живешь! Чайник вскипятила—держу на примусе..

Бобров только теперь заметил, что в комнате действительно чисто прибрано, его вещи не валяются на полу и на столе, к лампе прилажен бумажный абажур.

— Мне ведь некогда, сама понимаешь.—И не надо. Сюда никто не заходит, я один. Зачем ты это сделала?

Нюра опустила голову, почувствовав в его тоне упрек.

— Так, от скуки...

«Зачем она пришла? Может быть, хочет здесь остаться. Этого еще не хватало!»

Неожиданный приход Нюры, которую он давно не видел, прибранная комната, кипящий на примусе чайник—все это как нельзя больше усугубляло и без того мрачное настроение нашего героя.

«Утешать будет. Как в романах—герой забывается на груди любимой женщины... Какая гадость»...

Она то и дело бросала на него покорные и любящие взгляды, те самые взгляды, которые в последнее время были ему особенно неприятны. Он привычно отвечал на эти взгляды, не ощущая

ничего, кроме раздражения, и даже, пожалуй, некоторой неосознанной, покамест, ненависти.

— Знаешь что,—не раз начинала она—и останавливалась. Или казалось ей, он был недостаточно внимателен или он недостаточно нежен, чтобы выслушать то, что она решила наконец сообщить.

— Знаешь что,—выговорила она, наконец, настолько громко, что он не мог не услышать и вопросительно посмотрел на нее.

Она опустила глаза, чуть-чуть покраснела:

— У меня будет ребенок...

Юрий или не понял, или задумался, но ответил не сразу. Она смутилась еще больше и еще ниже наклонила голову.

— Надо сделать аборт?—спросил он. И тотчас же понял, что она ждала не такого ответа.

— Я не хочу,—заикаясь и волнуясь, объясняла Нюра:—я хочу, чтобы он,—сделав особенно ударение на слове «он»,—сказала она:—чтобы он был похож на тебя... Ведь я же люблю!—выкрикнула она последнее слово.

— Зачем тебе? Что за глупость? Ты еще девочка, успеешь,—уговаривал Юрий. — Сделаешь аборт и будешь опять свободна...

Она, не слушая его слов, вглядывалась в лицо и, наконец, все поняла.

— Так ты не любишь меня? Ты любишь ту...  
— Я давно знала!..

Уговаривать ее, утешать, успокаивать?.. Но вместо ласковых приходили другие, сухие, злые слова.

— Почему не люблю? Я просто не хочу возиться с ребенком. Он мне не нужен. Он не нужен и тебе, наконец!

Это было грубо—он сам понимал, что нельзя так отвечать—и в то же время никаких других слов найти не мог.

— Успокойся, успокойся... Мы поговорим...

Она не слушала. Вырвавшись из его рук, рыдая и всхлипывая на ходу, она выбежала за дверь. Пока Бобров разыскивал шапку, чтобы пойти вслед за нею, вернуть ее и как-нибудь успокоить—она была уже далеко.

И вместе с понятным вполне, неприятным, тяжелым чувством было непонятно-радостное ощущение свободы.

— Наконец-то. Только бы не вздумала вернуться... А примус все еще горит,—вспомнил он.—И чорт с ним. Пусть взорвется... Сгорит весь этот хлам,—так и надо.

Часа полтора он ходил по городу, каждую минуту ожидая тревоги. Вот-вот—набат. Вот-вот покажется дым и огонь. Вот-вот мимо него проскачут пожарные.

Но ночной город был попрежнему спокоен и тих, где-то далеко стрекотали трещотки сторожей, мирно стояли фабричные корпуса, в глубине которых тяжело вздыхала паровая машина.

Бобров вернулся домой. Отпер дверь. Комната была полна дыма, пахло бензином, а примус стоял на столе как ни в чем не бывало,—пустой и холодный.

\* \* \*

Отказ в ссуде никто не считал окончательным и категорическим. Товарищ Лукьянов, к которому Бобров обратился, с недоуменным и тревожным вопросом:—Что же делать?—ответил:

— Пустяки. Не дали сегодня—дадут завтра. Не беспокойся,—я это дело до конца доведу. Сам поеду, всех растормошу. Будут знать, что здесь работает не кто иной, как товарищ Лукьянов.

Глаза его при этих словах разгорелись, сонное обычно лицо оживилось.

— Я по прямому проводу поговорю. У меня остались еще там друзья-приятели...

Бобров совершенно правильно в свое время рассчитал, изменяя первоначальный скромный строительный план на почти фантастический в условиях средних размеров губернского города проект. Только смелость этого проекта могла увлечь человека с застывшей энергией, только смелость могла расшевелить его; вывести из со-

стояния полнейшей апатии. Лукьянов принадлежал к тем многочисленным у нас людям, которые умеют в короткий срок развить необычайную энергию, чтобы затем погрузиться на долгое время в усталость и безразличие, пока новые обстоятельства не вызовут новой, такой же короткой вспышки.

Появление Боброва с его фантастическим проектом оказалось именно таким обстоятельством. Лукьянов развивал энергичную деятельность, поднимая бурю в отделах и подотделах губисполкома. Он рассылал депеши, он разговаривал по прямому проводу, он отыскивал всех своих бывших приятелей и просто знакомых—и получал в конце-концов только обещание поддержать, — и больше ничего.

— Сволочи! Сидишь, ничего не делаешь,—недовольны. За дело возьмешься—опять недовольны. Чего им надо?

Может быть, в конце-концов эта энергичная деятельность сдвинула бы дело с мертвой точки, но сдвинулось оно не благодаря этой энергии, а благодаря вторжению той силы, которой мы никогда не научимся распоряжаться.

Пусть протестуют строгие ригористы против введения в повествование таких сшитых белыми нитками мотивировок, которые носят название

случайностей, но как в жизни человека, так и в повести об этой жизни случайности играют далеко не последнюю роль. А здесь как раз помогла непредвиденная и неожиданная случайность.

Бобров возвращался из театра, под руку с Мусей, крепко прижимавшей к нему мягкую и теплую шубку. Изредка он взглядывал на нее,—и видел обращенные к себе большие круглые, радостные глаза. Ночь была ветреная—ветер кружил по улицам, срывая с деревьев последние листья, ветер пронизывал насквозь,—Муся куталась в мех и еще крепче прижималась к нему.

— Бррр... Холодно...

А ему не было холодно. Ему приятно было распахнутой грудью встречать холодные волны ветра,—и ощущать приятную теплоту маленькой, так доверчиво, казалось бы, прижимающейся к нему женщины и чувствовать себя молодым, свободным, счастливым.

— До свиданья...

— Ты завтра приходи,—шопотом говорит Муся, жмется в меха, и вдруг смеется сухим взрывчатым смехом.

— Приходи... Не забудь...

Этого достаточно было, чтобы прошло навсегда то неприятное чувство, которое не оставляло Боброва от последнего свидания с Мусей. Этого

достаточно было, чтобы чувство молодости, радости и силы не оставляло его всю дорогу.

Он шел через мост, он шел улицами, погруженными в сон, и казалось, что он—единственный бодрствует здесь на этих сонных улицах, в этом сонном, молчаливом городе.

Это чувство не оставляло его и всю ночь. Ему спились: ветер, море, корабль, он капитан этого корабля, он—отважный мореплаватель, он ведет свой корабль по волнам—не к пристани—нет, он уводит его от пристани в бурю, отдает напорам ветров. Против него—слепая, раз'яренная и в ярости своей косная стихия; за него—его смелость, молодость, уверенность в победе.

Корабль дрожит под напором ветров. Трещат мачты, скрипит обшивка, волны одна за другой налетают на корабль, одна за другой, все сильнее, все неистовее.

И вот—затрещало, провалилось, запахло гарью и дымом, кто-то внизу—в трюме—или на палубе, или в каютах громко истошно кричит:

— Пожар!

— Пожар! Пожар!

Бобров открывает глаза—в комнате пахнет дымом, и прямо в глаза ему одиноко смотрит одноглазое красное окно.

— Пожар!

Наспех набросив пальто, он выскочил на улицу. Толкая торопливых пешеходов, побежал он к самому центру пожара. Золотые языки пламени охватывали сразу несколько деревянных строений, ветер подхватывал эти языки, перебрасывал с крыши на крышу, торопились пожарные, летели автомобили, бежали пешеходы, ревели ребяташки, и горько вздыхали обыватели, охраняя груды вытащенного из пламени скудного добра.

— Редкое зрелище, не правда ли,—услышал Бобров за спиной знакомый голос. Перед ним стоял архитектор, в коротком пальтишке, большой и нелепый, и еще белее нелепая под пламенем пожара моталась позади него уродливая тень.

— Веселое зрелище,—иронически ответил Бобров.

— То-то ж и есть,—ответил архитектор и куда-то исчез. Бобров остался один с радостным, оставшимся от далекого детства чувством, глядя, как золотые, красные пламенные языки, разбрасывались по улицам, охватывая новые и новые жертвы, оживляя мертвую сонь старых деревянных слободок.

Как и всегда бывает—столь обычное для наших построенных из дерева городов, столь привычное бедствие оказалось явлением не только неожиданным, но и в самой слабой степени непредвиденным как раз теми, кто этого бедствия

должен был ждать, кто это бедствие должен был предвидеть. Вдруг оказалось, что лошади все в разгоне, вдруг оказалось, что новая машина—гордость пожарной команды—неисправна, что люди, наконец, не все в сборе и уж ни в какой мере, не подготовлены к работе. Не нашлось ни распорядительности, ни умения, не было учтено, что ветер слишком силен, что потушить пламя не удастся, что надо только отстоять те постройки, которые не тронуты огнем. Все было сделано как раз наоборот: тушить начали тот дом, который загорелся первым,—а пламя перекинулось на соседний. Бросились заливать соседний дом,—а пламя перекинулось через улицу и пошло гулять по деревянным крышам поселка. Только тогда догадались устроить водяную заставу огню, но заставка эта прошла по черте, за которой кончались жилые строения. На утро от обоих поселков оставалось не более половины домов,—а на месте другой половины стояли обгорелые срубы, да потрескивавшиеся от жары печи с обвалившимися трубами да сваленный кучами скарб погорельцев под охраной местной милиции.

Вполне понятно, что такое грандиозное по масштабам бедствие не могло не встревожить пытливую человеческую мысль. Требовалось немедленно же расследовать дело, требовалось не-

медленно же разыскать виновников, и это расследование, как то обычно бывает, велось сразу же с двух сторон: с одной—официальной, через лиц, имеющих право судить и осуждать, с другой—неофициальной, через лиц, которым никто власти судить и осуждать не предоставил. И вот эта неофициальная следственная комиссия нашла виновника раньше, чем официальные предназначенные к тому лица. Молва, возникшая, как пожар, так же стихийно, как пожар, разнеслась по всему городу, охватывая один дом за другим. И в одном доме и в другом, и в третьем доме говорили о пожаре и, не обинуясь, называли имя виновника, на которого молва возложила ответственность за стихийное бедствие.

Этим виновником оказался Юрий Степанович Бобров.

Пусть официальное следствие на другой же день с неопровержимой очевидностью уяснило, что пожар произошел в квартире одного из рабочих от взрыва примуса, и пусть все знали, что взрыв примуса, особенно тульского производства, есть явление частое и нормальное и только сильный ветер помешал побороть огонь,—все-таки молва не переставала считать виновником пожара знаменитого строителя, которому пожар должен был помочь осуществить задуманный им грандиозный план.

Мнение это разделяли даже близкие к Боброву лица. Архитектор, встретившись с ним в конторе, на другое же утро посмотрел на Юрия Степановича с хитрой усмешечкой и весьма лукаво спросил:

— Примусок-то, хе-хе! Взорвался?

Похлопал по плечу и весьма дружественным тоном добавил:

— Ну, теперь наше дело в шляпе! Молодец!

Бобров сначала не понял намека. Архитектор вышел уже из канцелярии, когда Бобров вернул его и обиженным тоном спросил:

— Послушайте,—вы серьезно?

— Что серьезно,—и маленькие глаза архитектора выразили полнейшее недоумение.—О чем это вы?

И неодобрительно покачав головой:

— Ох уж эти мне молодые люди! Все нервы, нервы...

Может быть, разговор этот слышал Алафертов, а может быть, что вернее, Алафертов, услышал где-нибудь в другом месте разговоры других, посторонних людей, но только через несколько дней после пожара, оставшись с Бобровым наедине, бесцеремонно заявил.

— А знаешь что? Говорят, что ты поджег город.

На этот раз Бобров не испугался. На его стороне была уже официальная версия, проверенная показаниями многочисленных свидетелей.

— Зачем же мне это понадобилось?

— Будто бы не понимаешь. Да ведь я бы на твоём месте тоже так... Да и не я один—каждый бы...

— Пожалуй, что и правда,—побледнев, ответил Бобров:—мусор жечь надо.

— Вот, вот,—соглашался Алафертов.

— Только ты не радуйся—я не поджигал.

И желая показать, что подобные разговоры не могут трогать его, вынул папиросу и стал зажигать спичку. Но руки его дрожали.

— Меня принимают за поджигателя... Ну так что же. Во имя идеи нельзя останавливаться ни перед чем. Плохо, пожалуй, разве то, что я не поджигал.

— Разве ж мы когда-нибудь сомневались,—поощрительно заметил Алафертов.—Мы всегда про тебя говорили—вот это человек.

Это поощрение, как ни странно, ободрило Боброва. Ему начинала нравиться версия о поджоге. Ведь к суду его не привлекут—причины пожара известны,—зато слава какая. Вот он идет по улице, и все смотрят на него, показывают на него, говорят:

— Посмотрите,—это Бобров.

— Какой Бобров?

— Неужели не знаете? Ведь это он сжег Грабиловку и Плешкину слободку.

— Ну? Неужели это он? Так вот он какой! И все глядят на него, все удивляются ему.

— Как могла ему притти в голову такая гениальная мысль. Каково?

— Это подлинно новый человек. Если бы все были такими. Да зачем все—достаточно десятка таких людей в каждом городе...

Так ведь он же и не думал поджигать? Что из того. Разве не так уж редко люди присваивают себе чужие заслуги или такие заслуги, которых они не совершали никогда. Разве многие исторические люди и деятели не случайно внесли свои имена на страницы истории, и если рассуждать по-марксистски, то роль личности может быть только случайной. Исторический процесс, протекающий с неизбежною силой, может с одинаковым успехом вынести на гребне своем одну и другую и третью исторические личности. Почему же такой личностью не может стать Юрий Степанович Бобров?

— Главное,—не отступить, не упасть, не поскользнуться. Главное—выдержать свою роль до конца, важно делать свое дело, чтобы ни говорили, в чем бы ни обвиняли.

Через месяц—другой Бобров так свыкся с этой идеей, что никто не сумел бы его переубедить. И если бы кто подошел и сказал ему: «какие глупости про тебя говорят»—он бы даже обиделся. И потому, когда товарищ Лукьянов, до которого слух этот дошел почему-то позже всех, полушутя спросил:

— Говорят, что ты поджег? Верно?

— А хоть бы и я,—ответил Бобров, улыбаясь.— Мусор жечь надо,—повторил он фразу, так понравившуюся Алафертову.

— Правильно,—ответил Лукьянов.—Видно, что ты—настоящий парень.

## XVI

Что за комиссия, создатель..

*А. Грибоедов.*

Несчастье, постигшее население города, всполошило не только этот город, но и все многочисленные города нашей республики. В газетах объявлена была подписка в пользу погорельцев, вопрос о восстановлении поселков поставлен на рассмотрение высших органов и срочно разрешен в положительном смысле: нашим строителям оставалось только заботиться, чтобы и пожертвования и ссуды пошли не на восстановление ста-

рых слобод, а на постройку нового города. Бумага летела за бумагой, из конторы в губисполком, из губисполкома в центр, из центра шли ответы в губисполком, из губисполкома—в контору, покамест в один из тех дней, которые неопытные сочинители называют прекрасными, как бы мрачен и дождлив он ни был, из мягкого вагона скорого поезда не высадились три человека: один высокий с орлиным носом, другой низенький, довольно-таки молодой, с оттопыренными красными ушами, третий—полувоенный в высоких сапогах, сером полушубке и в усах, отличающих особую заботу владельца об этом украшении.

Эти три человека—комиссия, приехавшая для разрешения на месте вопроса о помощи погорельцам и о постройке рабочего городка. Товарищ Лукьянов встретил гостей на вокзале, отвез их в гостиницу. Газета на другой день поместила портреты всех членов комиссии, при чем портрет высокого человека с орлиным носом выделен был особо и снабжен подписью, объясняющей всем и каждому, что этот человек не только высок, но и довольно высоко поставлен.

И в то же самое утро, когда граждане любовались портретами лиц, которые должны были избавить город от последствий катастрофы, обрушившейся не только на жителей Плешкиной сло-

боды и Грабиловки, но и на всех граждан, населяющих город, ибо они все волей-неволей, и не из одних только моральных чувств, давали временный приют погорельцам,—в это же самое утро комиссия в полном составе и даже с добавлением двух лиц—товарища Лукьянова, с одной стороны, и товарища Боброва, с другой—поехала осматривать пожарище.

Автомобиль, пыхтя бензином и отфыркиваясь, неловко прыгал по снежным ухабам Пролетарской слободы, как называлась теперь Грабиловка. Важное лицо равнодушно смотрело через пенсне на развалины, черневшие кое-где из-под свежего, необычайной белизны, недавно выпавшего снега, на черные, обгорелые деревья, вытянувшиеся подобно скелетам, на мальчишек, успевших приспособить развалины к своим незатейливым развлечениям. Лицо выражало даже не равнодушие, а пожалуй презрение.

— Ах, что там,—казалось, говорило оно,—это мы уже видели... Видели...

Молодой человек, с оттопыренными ушами, наоборот, осматривал развалины с преувеличенным любопытством, то и дело записывая что-то в книжечку и как бы стараясь наверстать своим усиленным вниманием невнимательность важного лица. Полувоенный смотрел больше вверх на молочно-голубое небо, наслаждаясь впервые, мо-

жет быть, после долгого столичного сиденья свежим воздухом, чистым небом и нестерпимую белизною снега. Лукьянов, несмотря на свою толщину, волновался, то и дело подскакивал на переднем сиденьи автомобиля, показывал на один дом, на другой, все время объясняя:

— Понимаете, несколько тысяч без крова. Кое-как разместили, понятно, но ведь в порядке чрезвычайного положения, почти принудительно.

Важное лицо поблескивало пенсне и наклоняло в знак согласия голову, полувоенный суб'ект молчал, молодой человек важно помахивал карандашом, выражая тем самым сочувствие населению, пострадавшему от неслыханного бедствия.

— Почему позволили распространиться огню,— говорил он высоким, гортанным голосом, напирая на букву «р», которую ему никак не удавалось выговорить, как следует.

— Да, да,—соглашалось важное лицо,—действительно: почему? Конечно большое бедствие, понятно, надо помочь. Что же вы предполагаете?

— У нас есть проект,—начал Лукьянов и посмотрел на Боброва.

Бобров понял, что слово предоставлено ему. Глаза важного лица скользнули по нем с равнодушием, глаза молодого человека—испытующе и недоверчиво.

— Мы предлагаем построить новый городок на другом берегу реки,—сказал Бобров, глядя прямо в глаза не важного лица, а молодого человека:—здесь болото, очаг малярии, воздух невозможный. Строить решено несколько выше по течению реки, а через реку перебросить мост.

— У вас есть проект? Разработан? Утвержден?—интересовался молодой человек.

— Вы познакомитесь с ним на заседании,—ответил Бобров. Молодой человек занес что-то в записную книжку.

Несмотря на то, что в городе были неплохие гостиницы и рестораны, несмотря на то, что каждый из ответственных работников почел бы за счастье принять у себя приехавшую из центра комиссию, накормить ее хорошим обедом и угостить приличным случаем разговором, устроено было так, что обед состоялся у Муси. Никто не поинтересовался узнать, какую роль играет Муся в жизни города, каково ее официальное положение, но зато все через полчаса убедились, что Муся, если не красивая и, может быть, не особенно на первый взгляд умная, то в общем очаровательная женщина.

Она каким-то ей одной ведомым путем успела показать, незаметно от других, важному лицу, что он интересуется ее вовсе не как важное лицо, а как человек и прекрасный собеседник; полу-

военному—что она влюбилась бы в него с первого взгляда, если бы он того захотел,—и что только он сам не хочет этого, а она выражает готовность ему подчиниться; молодому человеку, что он похож внешнестью на одного из чрезвычайно важных лиц, только, конечно, в миниатюре, а какое-то его незначущее замечание назвала государственной мыслью, тоже, конечно, в миниатюре. Кстати и по-женски кокетливо она успела сказать и тому, и другому, и третьему, что Юрий Степанович Бобров не имеет, может быть, особенных заслуг и стажа, но зато превосходный организатор, и что это ему принадлежит идея постройки нового города, и, что самая постройка города—идея смелая и в высшей степени революционная. Слово «революционная» она произнесла мягко и даже отчасти нежно, но ведь так и полагается очаровательной женщине, вовсе не намеревающейся выступать на митингах.

— Представьте себе, тут совершенно пустое место и вдруг через полгода—целый город. Ведь это же чудо! Что скажут за границей! Разве они могут допустить что-нибудь подобное!

Важное лицо важно же соглашалось. Молодой человек должен был соглашаться вслед важному лицу, а полувоенному в общем все было безразлично, кроме самой Муси. Он смотрел только на

нее и время от времени покручивал выхолненные усы, и даже успел как-то обмолвиться, что он бывший полковник, имел два георгиевских креста, а теперь вдвое вознагражден одним орденом красного знамени.

Юрий Степанович предпочитал держаться в стороне: он понимал, что если важное лицо относится к нему безразлично, то лицо не совсем важное, а именно молодой человек с оттопыренными ушами, видимо, раскусил все планы и намерения Боброва и рад будет малейшей с его стороны оплошности.

Обед закончился тем, что важное лицо, поблагодарив Мусю, сказало:

— Очень приятно было беседовать с вами. Когда будете в Москве, не забудьте, что я—в числе ваших знакомых...

И эти слова подтвердило особо крепким рукопожатием.

После такого обеда заседание комиссии было, пожалуй, излишним, но такова форма: необходимо заседать, необходимо заслушать официальный доклад, необходимо этот доклад обсудить и вынести постановление.

На заседании распорядился молодой человек, выказавший там такие свойства и познания, такую разностороннюю компетентность, выразивший свои мысли так громко и так безапелляцион-

но, что всем остальным приходилось только соглашаться.

Он, конечно, нашел, что все, сделанное до сих пор местными силами, сделано если не плохо, то и не совсем так, как надо бы. Можно, конечно, эти ошибки исправить, но можно, скрепя сердце, оставить их в неприкосновенности.

— Нужно, чтобы и места проявляли свою инициативу.

К цифровым данным он не замедлил сделать несколько поправок, оказавшись и прекрасным знатоком лесного рынка, и цен на рабочие руки, и цен на строительные материалы. Поправки, впрочем, он делал очень осторожно, уменьшая или увеличивая сумму не выше чем на десять процентов, а с другой стороны, и очень решительно, потому что и голос, и тон его казались чуть не пророческими.

В задачи комиссии входило только выяснить финансовую сторону дела, сообразуясь с действительными размерами бедствия, тем более комиссия не должна была рассматривать чисто технических строительных вопросов, но молодой человек не остановился и перед этим.

— Раз вы собираетесь строить, и уже ведете заготовки—у вас должен быть план, проект... Очень любопытно.

Бобров достал из своего туго набитого бумагами портфеля несколько месяцев тому представленный ему архитектором план.

— Это, конечно, только черновой набросок—в основных чертах,—пробовал он защитить своего ближайшего помощника, заметив недоуменные на лице молодого человека.

Но эта защита цели своей не достигла. Только взглянув на испещренный топографическими знаками лист, молодой человек презрительно сощурился и бросил короткое, но на очень высокой ноте:

— Безобразие! Ведь у вас улицы—кривые.

Все, заинтересовавшись, склонились над планом. Бобров покраснел.

И было из-за чего покраснеть, если мы вспомним, какой это был план. Кривые улицы, многочисленные переулочки и тупички, неправильные площади и неизвестно почему просто пустыри никого не могли удовлетворить, тем более требовательную комиссию из центра.

— Провинция. Вечно напутают. Дали какому-нибудь сапожнику,—прошептал молодой человек на ухо важному лицу, но достаточно громко, чтобы все слышали этот неодобрительный отзыв.

— План составлял губернский инженер, перво-классный архитектор, специалист по планировке

городов,—защищался Бобров:—его статьи помещают в столичных журналах...

— Как его фамилия?—спросил молодой человек.

— Иванов.

Молодой человек тряхнул подбородком:

— Не знаю. Но, конечно, по такому плану строить нельзя.

— А, может быть, местные условия,—сказал полувоенный, которому план этот своими многочисленными знаками напомнил те планы, которые ему приходилось видеть и самому делать на фронте.

— Да, да, местные условия,—ухватился Бобров, сиюсь вспомнить все то, что ему говорил архитектор по поводу этого плана.

— Здесь возвышенности, здесь овраг, здесь сток воды...

— Пустяки,—безапелляционно оборвал молодой человек:—вы, конечно, измените план. Вместо последнего слова техники предлагать расхлябанную дрянь!

Никто не решился возражать, и перешли к следующим вопросам.

— Все это не суть важно,—высказал свою точку зрения полувоенный,—только денежек-то у нас маловато. А план грандиозный, по здешним масштабам.

Важное лицо кивнуло головой в знак согласия. Заседание снова приняло финансовый характер, но молодому человеку не терпелось. Он время от времени косился на составленный архитектором план и, когда с финансовым вопросом закончили, снова поставил тот же вопрос.

— Я предлагаю,—сказал он,—перенести город вот сюда, и ткнул пальцем на пространство как раз против фабрики.

— Это нетрудно,—согласился Лукьянов,—ведь вопрос еще не решен окончательно.

— А, может быть, товарищ Иванов будет протестовать как губернский инженер? Мы переменили место постройки после основательной проработки вопроса,—заявил Бобров.

— Позвольте,—почти закричал молодой человек,—ведь здесь ближе к фабрикам.

— А, может быть, местность,—пробовал возражать Бобров.—Здесь бугры...

— Выровнять!

Собственно говоря, этому молодому человеку и остальным членам комиссии, как приедем, безразлично было, где будет стоять новый городок, далеко ли от фабрики, близко ли, прямые в нем будут улицы или кривые. Ему надо было показать, с одной стороны, важному лицу, что он именно, товарищ Ланской (такую аристократическую фамилию носил молодой человек), принял

деятельное участие в обсуждении вопроса, что он проявил огромную осведомленность в деле городского строительства—осведомленность, какой даже важное лицо не имело; надо было показать и еще где-то там в центре, что комиссия не сидела, сложа руки, и не удовольствовалась уменьшением сметы на десять процентов, а проявила собственную инициативу, и надо было, чтобы от работы комиссии остался приличный след в протоколе. А самое главное—требовалось, чтобы в этом протоколе имя товарища Ланского склонялось во всех падежах, чтобы из каждой строки было ясно, какой дельный и умный человек товарищ Ланской, какой энергичный и интересный человек товарищ Ланской, какой он знающий человек, какой он разносторонний, наконец, человек товарищ Ланской.

— По предложению товарища Ланского перенести городок ближе к фабрике.

— По предложению товарища Ланского сделать изменения в плане.

— По предложению товарища Ланского уменьшить ассигновку...

Бобров вполне понимал товарища Ланского—может быть, и сам он в подобном случае поступил бы не иначе—но в то же время ему было неприятно, что вот человек, повидимому ни уха ни рыла не смыслящий в деле, сумел терроризиро-

вать всех своим громким голосом и безапелляционным тоном.

— Как жаль, что не позвали архитектора. А ведь в этом виноват я. Надо было настоять, чтобы присутствовал архитектор.

Но думать об этом было поздно. Юрий Степанович был скромпрометирован и уничтожен своим более сильным в смысле голосовых связок и безапелляционности тона соперником.

Он закусил губы и молчал. Он даже ничего не ответил на обидное для него предложение:

— Справитесь ли вы местными силами? Может быть, вам прислать подкрепление?

Хорошо, что никто из местных членов комиссии не встретил этого предложения благосклонно: оно обижало не только Боброва, но и других, весь город и всех работников этого города. А провинциальное самолюбие развито, как известно, в степени, обратно пропорциональной размерам городов.

Вечером комиссия в полном составе была на вокзале. Только в отличие от встречи—проводил ее не один Лукьянов, но и Муся. Она облюбовала себе важное лицо и все время, вплоть до отхода поезда, говорила с ним неизвестно на какую тему. На лице важного человека во время этого разговора сияла полуприятная, полуравнодушная улыбка.

Боброва на станции не было.

Юрий Степанович спешил поделиться новостями с Галактионом Анемподистовичем. Тот слушал рассказ Боброва довольно-таки равнодушно, словно наперед знал, кто именно и что именно говорил на заседании комиссии и какое решение было принято. Уменьшение сметы на десять процентов его нисколько не беспокоило:

— Я как раз эти десять процентов прибавил. Имел в виду—опыт есть...

Но когда Бобров дошел до инцидента с планом будущего городка, архитектор проявил несколько больший интерес.

— Так ведь это не их дело.

— Просили показать—я и показал,—оправдывался Бобров.—А уж и подвели же вы меня с этим планом!

— Кто подвел? Почему? Что они понимают? Разве они специалисты.

— Да неужели вы то не знаете,—рассердился Бобров,—я раскрываю этот ваш замечательный чертеж, а улицы, представьте,—кривые.

-- Что же из того? Ну, кривые. Я же вам объяснял почему.

— А то, что надо составить новый план. Перемудрили вы с вашими улицами. Не думайте, что я не защищал—пришлось, а надо мной только смеялись.

— Ну об этом мы после поговорим—спокойно ответил архитектор:—а еще что?

— А еще постановили передвинуть город поближе к фабрике.

— Там? В кабинете? В здравом уме и твердой памяти? Записали в протокол?

— Разумеется.

Боброву было непонятно, почему архитектор говорит об этом таким тоном, словно издевается и над ним, и над комиссией, и над протоколом.

— Будьте добры составить новый проект,—не глядя на собеседника, официальным тоном добавил Бобров.

Архитектор, вместо того, чтобы обидеться, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, бороду поднял вверх и захохотал, сначала тихо, потом все громче и громче. Бобров ничего не мог понять.

— Что тут смешного? Ну?

Смех архитектора был вполне искренним. Он не мог остановиться, а только притягивал Боброва за рукав поближе к себе, усаживая его на кровать.

— Погодите... ха-ха-ха... Погодите... Так они передвинули... И все тут... Землю хотят обмануть... Ведь на моем плане каждый камушек учтен. Ведь иначе на этом месте и построить нельзя. Ну можно немножко улицы выпрямить,

если им так нравится—я спорить не буду. А как же они на другое место переносят.

— Я говорил... Надо мной так же смеялись, как вы сейчас...

Архитектор, наконец, успокоился.

— Конечно, мы будем строить так, как прикажут. Ведь главное для нас—строить. Все равно как,—добавил он, с усмешкой глядя на Боброва. Только не видите разве, какая у них чушь получается. Тут овраг—а они улицу проводят, прямо по оврагу. Так ведь вода все дома смоеет. Понимают они это или не понимают? Кто-нибудь там у них, ну, хоть на столечко, знаком с делом?

— Какой-то товарищ, Ланской больше всех кричал.

— А я вам скажу, что он ни чорта не понимает, этот ваш товарищ Ланской. А вы, извините, тоже мало понимаете. Так зачем было вам, простите за выражение, не в свое дело соваться.

— Вы бы это им объяснили.

— И объясню... Можете не беспокоиться. А на всякий случай и новый планчик приготовим. Что вы на самом деле—плохой план в сто раз легче сделать, чем хороший. Сделаем...

Он озорно улыбнулся, подмигнул Боброву.

— Денег дадут?

— Дадут.

— Так чего же вы кукуетесь-то на самом деле!

Архитектор, действительно сделал попытку отстоять свой первоначальный проект. Он выступил с подробным докладом, развертывал планы всех мировых городов, всех новостроющихся за границей поселков, призывал на помощь авторитеты, приводил цитаты из русских и иностранных авторов.

Но ни доклад, ни планы мировых городов, ни цитаты и выдержки, ни русские, ни иностранные авторы не помогли.

— Неужели вы все-таки думаете, что кривые улицы лучше прямых?

— Курам на смех.

Бородатый Ерофеев, вероятно, по старой дружбе, пробовал что-то сказать в защиту проекта, но и его реплика разбилась о полное равнодушие слушателей. Больше всех возмущался проектом товарищ Ратцель, логический аппарат которого никак не мог вместить преимущества кривых улиц.

— Все это так,—отвечал он на доводы архитектора, но все-таки...

Даже ссылка на бугры и овраги никого не удовлетворила.

— Ну так засыпьте овраг... Что ж это на самом деле—хотим всех удивить, а построим, чорт знает, что.

— Оползни будут.

— А на что ж вы и спец, чтобы сделать без оползней,—резонно возразил кто-то.

Архитектор нахмурился, опустив широкую бороду на грудь, и призадумался. Потом встал, разгладил бороду и с видом человека, принявшего важное ответственное решение, спросил:

— Так не хотите?

И сунул руку в карман. Это был тот самый жест, при помощи которого чиновники и всякого рода деятели во все времена подавали и теперь подают прошение об отставке. Бобров испуганно смотрел на архитектора—неужели он из-за такого пустяка... можно ведь уступить.

— Нет?—еще более решительным тоном спросил архитектор.

Никто не ответил.

— А если нет,—как хотите! — торжествующе кончил он.

Маленькая рука его вытащила из бокового кармана большой лист бумаги, лист этот торжественно был развернут перед зрителями:

— Ну так вот вам новый план.

Все облегченно вздохнули. Новый план был испещрен исключительно прямыми линиями, удовлетворяющими даже такого строгого любителя геометрии, как товарищ Ратцель.

— Давно бы так. С этого следовало начать.

— Вот и хорошо. Вот и прекрасно.

Архитектор, ехидно улыбаясь, поглядывал на Боброва и как будто подмигивал ему. Бобров не мог понять—шутит ли архитектор, когда предлагал свой первый нелепый план, или наоборот, шутит теперь.

— А все-таки я настаиваю,—закончил архитектор,—чтобы место не менять. Пусть будет дальше от фабрики, но не там, где имеется совершенно реальная опасность.

Аргументы были настолько убедительны, что совещание постановило запросить центр.

— При чем тут центр,—возмущался архитектор,—Им разве оттуда что видно.

— Так ведь постановление уже зафиксировано в протоколе.

— А что нам протокол?

Но такого явно выраженного презрения к протоколу, подписанному специальной комиссией, да еще присланной из центра, да еще с участием весьма важного лица, никто не мог разделять. Запрос был послан, и скоро получен ответ за подписью товарища Ланского.

— План исполнять в соответствии протокола точка, постройку закончить октябрьской годовщине.

Архитектор не выказал ни малейшего желания настаивать и бороться.

— А чорт с ними—им же хуже,—ответил он. Короткий срок тоже ему не пришелся по вкусу. — Ишь ты, как торопятся. Ишь ты...

Но зато Юрия Степановича радовали—и нежелание архитектора защищать свой проект, на который было истрачено столько труда, и короткий срок для постройки: тут-то только и можно показать себя.

Ассигновки не замедлили притти в местный банк, и со Слуховщины потянулись по зимней дороге первые подводы со строительным материалом.

---

## ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ



## XVII

Здесь будет город заложен

*А. Пушкин.*

Еще на покрытых прошлогодним бурьяном ложбинах Чортова Займища кое-где белел снег, еще высокая вода стояла на реке после весеннего половодья, еще вязли ноги в сероватой глинистой почве, на которой через полгода должен был расположиться городок, еще нетронуемыми стояли огромные кучи камня и щебня, еще топор не прикасался к дереву, высокими штабелями выстроившемуся на пустыре,—а уже и снег и сероватую глину месили тяжелые сапоги первой партии строителей. Там и тут стояли трехногие аппараты землемеров, рабочие с влачившимися по земле цепями перекликались из конца в конец, отмечая свежесоборванными колышками границы будущих улиц, переулков и площадей, плотники сооружали на берегу реки барак из горбылей и легкого теса, у барака

дымился костер, ближе к шоссе в наскоро сколоченной конторе знакомый нам Палладий Ефимович Мышь, жестоко волнуясь и покрикивая тоненьким голоском, принимал от поставщиков новые и новые партии строительного материала, а по шоссе, тянулись подводы, груженные серыми бочками цемента, бревнами, подвязником, накатником, жердями, лежнями, брусьями и досками и красным кое-где до черноты пережаренным кирпичем.

По буграм и ложбинам в высоких охотничьих сапогах бродят знакомые нам фигуры: одна большая, с маленькой головой в потрепанном коротком, словно бы с чужого плеча пальтишке; другая невысокая и сохранившая в одежде некоторую щеголеватость, несмотря на грязь, облепившую и скроенное по последнему модному фасону пальто и высокие охотничьи сапоги. Это—заведующий производственным отделом Галактион Анемподистович Иванов и директор постройки—Юрий Степанович Бобров.

Юрий Степанович горячо объясняет что-то архитектору, архитектор скупко роняет слова, стараясь соединить разговор с какой-либо реальной работой: то пробует сапогом влажную почву, то оглядывает углубление, наполненное вешней водой, то вынимает план и делает на нем необходимые ему отметки.

Остановились они неподалеку от реки, где она резко изгибается вправо.

— Вот здесь,—сказал архитектор:—видите—будущий райисполком...

Только воображение строителя могло увидеть здесь будущую площадь и здание: непосвященный зритель видел только одно, что здесь больше, чем в других местах, наследили тяжелые сапоги, да здесь больше, чем в других местах, вешек и свежесоточенных колышков.

— Смотрите—тут один угол здания, тут другой. Фасад выходит к реке. Тут площадь, тут разобьем сквер...

— А где поставим трибуну?

— Строят уже—смотрите.

Неподалеку двое рабочих сооружали временные подмости. Увидев архитектора, они бросили работу и подошли поближе.

— Вот это—первый камень нашей постройки,—указал архитектор на большой необтесанный валун.

— Приготовить что ли?—спросил один из рабочих.—Мы уж тут пробовали...

Неподалеку от камня был снят верхний слой почвы и обнажена сероватая глина. Архитектор носком сапога попробовал глину, что-то прошептал про себя и ответил:

— Начинайте. Без репетиции не обойдешься,—улыбаясь, сказал он Боброву.

Бобров согласился.

— Конечно, нельзя.

Лопаты врезались в глину и отломили каждая по блестящему, влажному ломтю. Обе лопаты одновременно приподнялись, и глина, слегка хлюпнув, примяла побуревшую прошлогоднюю траву.

— Давай еще.

Через две-три минуты была вырыта довольно глубокая яма. Архитектор опять пощупал дно кончиком сапога и распорядился:

— Еще на полфута!

Опять лопаты врезались в мягкую блестящую землю и тотчас же остановились.

— Вода.

Рабочие, как по команде, подняли лопаты и примяли глину. Из-под лопаты сочилась тоненькая струйка воды.

— На ключ попали.

Оба в недоумении остановились над ямой.

Архитектор, что-то нашептывая про себя и соображая, остановился в раздумьи. Бобров тревожно смотрел на него.

— Лом у вас есть? Попробуйте.

Брошенный со всего размаха лом легко врезался в мягкую почву. Вода забила сильнее и скоро наполнила яму.

— Что такое? Что случилось?—встревожился Бобров.

— Подземные воды,—спокойно ответил архитектор.—Этого надо было ожидать. Придется потом подумать, что с ними делать. А пока...

Он отошел шага на два—и опять быстро заработали лопаты, отбрасывая на траву мягкие и блестящие ломти сероватой глины. Почва становилась все влажнее и влажнее.

— Не надо. Зарыть. Начинайте с другого угла.

— А камень как же?

— Камень придется перенести. Эка беда!

Рабочие нехотя направились к колышку, отмечавшему противоположный угол будущего здания.

— Не все ли равно, куда мы первый камень положим,—ведь верно?—стараясь казаться веселым, спрашивал архитектор. Бобров молчал. Опять начали работать лопаты.

— Здесь хорошо. Дело обстоит не так страшно... К завтрашнему дню камень должен быть там. Яму засыпать, воду предварительно выкачать.

Строители последовали дальше. Они не слышали, как позади них шопотом разговаривали рабочие.

— На воде хотят строить,—сказал один.

— Им виднее... Наше дело исполнять, коли приказывают.

— Тоже еще камень переноси,—опять проворчал первый.—Нас не в каменщики, небось, нанни-

мали... А этот кто же с архитектором важный такой... Форменный комиссар. Видно, ни хрена не понимает...

— Не твое дело, что велят, то и исполняй!

Наши герои не слышали этого разговора,—и хорошо. Разве умение управлять людьми не заключается в том, чтобы не слышать, чего не надо слышать, не видеть, чего не надо видеть, а в особенности не говорить о том, о чем можно и не говорить.

— Ну что ж, Юрий Степаныч, строим? Теперь уж назад не повернешь.

— Строим,—хмуро ответил Бобров.

— А чего ж не радуетесь-то? Радоваться надо.

— А вы радуетесь?—в упор поставил вопрос Юрий Степанович.

— А что ж мне еще делать? Понятно, что радуюсь. Только и беспокоюсь немножко. Не уплыл бы наш городок в речку. Что? Как по вашему? Не уплывет?

Архитектор скрестил руки на груди и ждал ответа.

— Неужели есть опасность?

— Не страшно—я ведь, что называется, образно выражаюсь. Где-то тут—он придавил сапогом вязкую серую глину—под землей речка те-

чет. А где она—без подробного исследования не установишь. Бурение надо произвести... Ведь это все от нас же самих зависит. Захотим—уплывет, не захотим—все сойдет благополучно. Питер ведь весь на воде стоит, и ничего—держится. Только если уж по правде говорить—надо бы другое местечко выбрать—повыше туда, посуше...

— Я думаю, что и здесь не плохо.

— А это уж как хотите.

Боброву представилось, что вот опять поставят вопрос об изменении проекта—опять комиссия рассмотрит и утвердит новый проект, опять пошлют запрос, опять изменят, может быть, опять назначат комиссию...

Подобные же мысли были и у архитектора.

— Справимся как-нибудь—подумаем. Это не штука на хорошем месте строить—ты на плохом так построй, чтобы хорошо было. Много ли у нас городов на хороших-то местах стоят? Ничего, вывезем...

Официальная закладка состоялась в назначенный день. Рабочие со знаменами, комсомол, пионеры, красноармейцы с оркестром музыки расположились полукругом на будущей площади. На трибуну один за другим выходили ораторы с праздничными речами о первом камне социали-

стического строительства, о тех трудностях, которые преодолены и которые еще нужно преодолеть.

Бобров стоял у трибуны. Рядом с ним, кутаясь в соболий палантин и как бы нечаянно крепко прижавшись к нему, стояла Муся. Изредка она поворачивала к нему голову и улыбалась радостной и многообещающей улыбкой. Он не слушал речей, не слушал поздравлений, наполненный радостью торжественной обстановки, радостью начала дела и, может быть, больше всего теми явными признаками внимания, которые оказывает ему Муся. Пусть в последнее время встречи их стали более редкими, пусть она иногда в самые нежные и счастливые минуты их встреч обдает его холодом, но—казалось ему—она только и ждет от него тех слов, которые когда-то сама не дала сказать. Он был уверен, что победа над нею зависит только от него, что он сам выжидает первого слова, радовался твердости своего характера и втайне мучился.

— Пусть она первая...

К трибуне протискался мужичек, низкорослый, с серой бородой и лукавыми карими глазками. Мужичек толтался около трибуны, стараясь обратить на себя внимание Боброва—Бобров не замечал его. Мужичек громко кашлянул.

— Да это Михалок, кажется.

— Наше вам, здравствуйте,—обрадовался Михалок.—Вот и я приехал, только-что с вашим архитектором говорил. Наша слуховщина вся тут.

— Вот и прекрасно.

— Мне-то прекрасно,—возразил Михалок,—мое дело маленькое. Только... Не знаю, как вам и сказать...

— Что такое?

— Я говорю—великое дело затеяли, большое. Это ораторы очень хорошо говорят. Сколько народу вас благодарить потом будут.

Бобров видел, что Михалок собирался сказать не об этом.

— Знаю, что не плохое,—ответил он.

— Только вот место-то выбрали... Эх!

— Место обыкновенное.

— Какое ж обыкновенное-то? Чортово Займище. Слава-то какая! Нечистое это место, вот что. Я уж и архитектору говорил.

— Вычистим,—отшутился Бобров.

— То-то же, что вычистим. Вы бы не смеялись над мужиком. Тут уж строились прежде, да ничего не выходило. Не стоять здесь городу!

— Вы бы архитектору сказали,—это по его части.

— Говорил. Только он чудной больно. Ты, говорит, знай строй, а там время все за тебя достроит. Правда, что время все правит.

— А вы бы не каркали,—остановил его Бобров.

Михалок сконфузился и исчез в толпе.

— Кто это?—спросила Муся.

— Так называемый Михалок. Со Слуховщины — вроде колдуна, что ли.

— Так у нас есть и колдуны,—обрадовалась Муся.—Как это мило. Сегодня ты у меня будешь?—спросила она и еще крепче прижалась к нему своей шубкой.

А на трибуну один за другим поднимались ораторы и все говорили и говорили... Следствие ли это векового молчания, следствие ли это вечно жившей, но не вырывавшейся наружу нашей потребности, следствие ли необходимости упорно просвещать наш покамест еще достаточно темный народ, но, несомненно, одно, что с первых же дней революции обрушилась на нас вместе с революционной стихией—стихия словоговорения. Разлившись по необъятным просторам, стихия эта захлестнула буквально всех—говорили на митингах, говорили на улицах и площадях, говорили в вагонах, говорили дома за обеденным столом, везде и всюду оказались свои Мирабо, расточавшие и весьма обильно ораторские таланты. Но постепенно, вместе с организацией революционных сил, организовывалась и ораторская стихия: теперь говорят не все и не всегда, а

только специально назначенные к тому лица и в специальные дни и часы.

А зато в эти специальные дни и часы, когда разрешено развязать языки, стихия полностью берет свое, стремясь наверстать потерянное время—и нет меры ораторскому потоку, и нет конца речам, и нет конца выступлениям...

Уже колонны собравшихся на торжество поредели, уже уехал товарищ Лукьянов, а вместе с ним и Муся, а поток красноречия, как бы подтверждая опасения архитектора и Михалка, стремился затопить Чортово Займище и новый, еще пока не построенный, город, все его будущие улицы и переулки и рабочих, собравшихся посмотреть место своего будущего жительства. Толпы и колонны редели, только знаменосцы не решались бросить свои стяги, да скованные дисциплиной отряды красноармейцев поддерживали приходящие в дезорганизацию ряды: надо ведь и то принять во внимание, что если у нас все любят говорить, то никто уж не любит слушать.

И поэтому пусть не покажется странным, что даже виновник, казалось бы, торжества не выдержал ораторского потока.

Юрий Степанович потихоньку, чтобы это не заметно было другим, сошел с возвышения, сделал два-три стратегических обхода и, оказавшись

вне поля зрения товарища Метчикова, которому было передано председательское место, направился к шоссе, где его ждал автомобиль.

\* \* \*

Вечером он был у Муси. Она сама открыла дверь и при этом сказала, как бы оправдываясь: — Сегодня праздник—никого нет.

Но улыбнулась так таинственно и вместе с тем так лукаво и почему-то—это бросилось в глаза Юрию Степановичу—была в том самом белом платье, которое было на ней почти год тому назад при первой их встрече.

В квартире был полумрак, лампа, накрытая темнокрасным абажуром, создавала освещение, при котором можно было лишь слабо различать очертания предметов—зато белое платье тем более выделялось и, где бы ни была Муся, оно бросалось в глаза. И что еще более усиливало впечатление необычности—она говорила шопотом, словно самая встреча была тайной и кто-то невидимый за стеной мог их подслушать.

Она вспоминала.

— Помнишь, когда ты пришел ко мне в первый раз. Ведь ты боялся меня, не правда ли? А теперь ты такой важный, а я рядом с тобой маленькая, маленькая...

Она изобразила, какая она маленькая, и ее платье нечаянно прикоснулось к нему.

— Ты очень много сделала для меня,—возразил Юрий:—я перед тобой в долгу.

— Старые долги,—лукаво погрозила она:—когда-нибудь придется расплачиваться... Помни!

— Я всегда буду твоим должником.

— Всегда?—с неожиданной страстностью повторила она:—ты говоришь—всегда?

Этому «всегда» она тоже придала таинственный смысл.

— Да, всегда,—шопотом ответил он, и, как когда-то, опять положил руку на спинку дивана, чтобы она, не прикасаясь, обнимала ее плечи. Но на этот раз Муся не отстранилась и продолжала начатый разговор, бессмысленный для других и в то же время полный для них обоих глубокого и тайного смысла.

— А ты думал тогда... давно, давно, когда маленьким мальчиком и девочкой мы сидели на скамейке в саду, такие глупые, что ты будешь моим... должником? Почему ты перестал со мной встречаться? Как я тогда плакала...

Боброву было стыдно сознаться, почему. Он чувствовал, что Муся сама отлично понимает это и только нарочно хочет увеличить список его долгов.

— Зато теперь...—ответил он,—и не окончил фразы. Рука, лежавшая на спинке дивана, словно

нечаянно опустилась на ее плечи, она вздрогнула, но как-будто не заметила ничего и продолжала тот же бессмысленный разговор.

— Теперь мы большие... и не такие...

Он в этот момент привлек ее легким и незаметным движением ближе к себе. Она не сопротивлялась.

— И не такие... глупые,—докончила она фразу и рассмеялась сухим взрывчатым смехом, таким тихим, что его мог слышать только он.

— Ну что еще? Что?—проговорила она—и он видел совсем близко сделавшиеся большими и глубокими глаза.

Она была в его руках—горячая, легкая и почему-то очень большая. Он дрожал—губы шептали что-то невнятное и, может быть, смешное, потому что в ушах стоял тихий сухой взрывчатый смех.

И как раз в эту минуту продребезжал звонок--требовательный, настойчивый, властный. Почему именно в эту минуту, спросите вы. Трудно объяснить, почему. Но этот неумолимый звонок, когда вы одни во всей квартире с любимой и любящей, может быть, женщиной, когда вы наполнены только ею и знать ничего не хотите, что делается за четырьмя стенами—он всегда раздается именно в эту минуту, не являясь ли

простым напоминанием о том мире, про который забыли вы, о той жизни, что бьется и неумолимо и дребезжаще требует там—за стеной.

Муся спокойно встала, прошла в прихожую, оправляя на ходу чуть-чуть помятое платье, спокойно открыла дверь. В дверь просунулась широкая борода товарища Ерофеева.

— Я кажется первым пришел... Извините, только по чрезмерной аккуратности... Товариш Лукьянов тоже сейчас будет, я только-что от него. А вот видите—и не первым,—обрадовался он, заметив Юрия Степановича:—Где ж нам старикам за молодежью...

— Юрий Степанович минут десять как здесь,—сказала Муся,—остальные по обыкновению запаздывают.

## XVIII

Придется некогда изведать и тебе  
Любви безумство роковое.

*Е. Баратынский.*

Каждое наше общественное празднество имеет, как известно, две части—одну официальную, с речами, митингами, выступлениями—и другую неофициальную—без митинга, без выступлений, но тоже с речами, а главное—с некоторым количеством спиртных напитков. Ужин у Муси,

устроенный сюрпризом для Юрий Степановича, был именно неофициальной частью торжества закладки рабочего поселка.

Вслед за Ерофеевым пришел Лукьянов и, увидев Боброва, подошел к нему той размашистой походкой, которой подходят только к близким приятелям и друзьям, и, ударив его по ладони, сказал:

— Поздравляю. А ведь ты—молодец.

— Что ж я,—в тон ему ответил Бобров,—мы тут все одинаково поработали.

— Ну, а все-таки, если бы не ты... Только смотри—напоследок не подкачай. Мне ведь за всем следить некогда—на тебя полагаюсь.

— Поможешь, так не подкачаем,—ответил Бобров, первый раз за все время подхватывая «ты», чтобы тем более укрепить дружеские отношения с главой губернии.

Пришли еще старые наши знакомые—Ратцель угловато, но уверенно, как физическое тело, преодолевающее сопротивление среды, продвинулся к хозяйке и поцеловал ее руку; Метчиков, чувствовавший в присутствии Муси некоторую неловкость и тотчас же спрятавшийся в угол; архитектор, одевшийся, вероятно, для оригинальности, в синюю косоворотку и высокие сапоги.

— Давно о вас наслышан,—сказал он Мусе,—оглядывая всю ее с ног до головы очень внимательным взглядом. Муся невольно опустила глаза:

— И я вас тоже очень хорошо знаю, хоть мы и незнакомы. Юрий Степанович не раз говорил.

— Ругал, наверное? Вздорный, отсталый старик? А вы недурненько живете, право, недурненько,—вслух выразил он свои впечатления от обстановки и расселся в одном из кресел, подняв вверх бороду и улыбаясь, похожий на большого лукавого мурлычащего кота.

Пришли еще какие-то молодые люди, пришли люди и немолодые, но нам незнакомые и не стоящие того, чтобы с ними сейчас знакомить, пришел безусый паж, некогда провожавший Мусю в ее путешествиях,—словом, пришли все те, кто так или иначе принимал участие в подготовке торжества, и их ближайшие знакомые. Последним прилетел Алафертов, франтоватый, улыбающийся, показывающий крупные белые зубы. На правах старого знакомого он говорил Мусе «ты» и старался держаться поближе к Лукьянову, вероятно, для того, чтобы тот раз навсегда запомнил его улыбающуюся физиономию.

Когда гости основательно познакомились со вкусом стоявших на столе яств и напитков, при чем отдавали перед всеми другими напитками явное предпочтение отечественной горькой, вспомнили и о том, ради чего собрались. Товарищ Лукьянов произнес нечто в роде тоста.

— Товарищи,—сказал он:—мы должны почтить виновника торжества нашего уважаемого,—он поклонился в сторону Боброва.—Когда он в первый раз пришел ко мне со своим проектом, я, признаться, подумал:—Сволочь какая-нибудь, сорвать хочет—уж ты извини меня, Бобров, из песни слова не выкинешь. А потом вижу...

— Когда же это он увидел-то—а?—шепнул через стол архитектор.

— А потом вижу—парень настоящий, увлекается. Я и сам увлекся: так уж это все замечательно вышло. Выпьем за товарища Боброва, за инициативу, за революционное строительство.

Все смотрели на Боброва. Муся улыбалась ему многообещающей улыбкой, архитектор подмигивал:—«Скажи! Ну-ка—скажи».

Бобров сумел ответить так, что, не умаляя своей роли, поставил на первый план заслуги Лукьянова—при чем тот не смог скрыть торжествующей улыбки.

— А впрочем,—закончил он:—никто из нас, товарищи, не может присвоить себе этой чести. Нас выдвинули и нам поручили дело и нас толкали они—настоящие хозяева нашей жизни. За строителей социализма—за пролетариат.

Дальше, как водится, говорили все и обо всех, не забыли даже об Алафертове и скромном Мет-

чикове, которые имели если не такие очевидные, то все же и неоспоримые заслуги. Муся во время ужина заботилась о том, чтобы никто не был обойден ее вниманием, как хозяйки дома. Она поговорила и с Ратцелем, и с архитектором, и даже с Ерофеевым, который, подвыпив, не прочь был подурачиться и несколько раз пытался обнять ее, но она каждый раз умела ускользнуть от объятий. Бобров следил за Мусей и чувствовал, что все улыбки, все слова, с которыми она обращается к другим, принадлежат только ему одному, как ему одному принадлежит ее белое платье и открытые этим платьем плечи и несколько полные белые руки. Она старалась сама поддерживать в нем это чувство, то и дело взглядывая на него через плечи других с особенной многообещающей улыбкой.

После ужина начались неофициальные разговоры. Лукьянов громко рассказывал о своих военных подвигах и удивительных случаях фронтовой и революционной жизни. Ерофеев—о своих похождениях в молодости, когда ему вздумалось почудить и он ушел из богатого родительского дома бурлачить на Волгу. Ратцель—о каких-то планах, которые позволят безошибочно предусматривать самые неожиданные конъюнктуры. Архитектор в углу уламывал Метчикова, стараясь, вероятно, внушить ему одну из своих теорий,

которыми он так любил удивлять свежих людей и которым сам никогда не следовал в жизни.

Ерофеев подошел к Боброву и сказал:

— А ведь все-таки сознайся, что авантюра.

— Что авантюра?

— А вот все это ваше дельце, а? Ведь это вы Плешкину слободу спалили.

Бобров отшатнулся и удивленно посмотрел на бородача.

— И не стыдно вам.

— Что ты, что ты. Я ведь сам это люблю. Размах-то какой. Широта! А ведь я тоже, признаться, сначала подумывал, что ты просто сорвать хочешь. А ты ведь строишь. Молодец!

\* \*  
\*

Весь последовавший за закладкой городка день Юрий Степанович только и жил одной мыслью— как можно скорее, сейчас, немедленно видеть Мусю. Может быть, вам это покажется невероятным, но директор грандиозной постройки, автор необыкновенного по смелости проекта, в тот самый день, когда осуществление началось, когда он получил возможность вдоволь насытить и чувство тщеславия и чувство власти, которые глубоко коренятся в существе каждого человека, а такого человека, как Бобров, коренятся в осо-

бенности глубоко, следил больше за стрелками своих часов, чем за работой вверенного ему и гораздо более сложного, чем часы, аппарата.

Но напрасно следил он за стрелками—аппарат постройки так крепко взял нашего героя, включив его в размеренно быстрый ход свой, что даже движение стрелки часов вовсе не приблизило для него минуту долго ожидаемого им свидания. Надо сказать, что Юрий Степанович в этом аппарате играл ту же роль, что стрелка в часовом механизме, а именно—был наиболее видной и в то же время наиболее подчиненной частью. Он должен был находиться в движении до тех пор, пока будто бы подвластный ему аппарат не прекращал своего движения.

Контора постройки помещалась теперь не в квартирке из двух небольших комнат, а временно заняла здание городского театра, закрытого на летний сезон. В зрительном зале, в ложах, на галерке и в амфитеатре стрекотали машинки, выступившая ведомости, сметы, проекты, отчеты и счета, толпились пришедшие наниматься строители—плотники, каменщики, маляры, поставщики и подрядчики осаждали кабинет Юрия Степановича, соблазняя его выгоднейшими предложениями, конторщики и делопроизводители и счетоводы стремились здесь же найти применение своим силам и тоже осаждали кабинет Юрия Степановича—и,

наконец, безвестные изобретатели тут надеялись получить возможность осуществить кажущиеся им такими необыкновенными изобретения.

Совершенно напрасно некоторые из наших сограждан обвиняют нас в отсутствии духа изобретательности и инициативы: в чем другом—в изобретателях у нас никогда не было недостатка. Стоило только первому плотнику ударить топором по бревну, и вот уже несколько человек принесли изобретенные ими топоры, которые, по словам изобретателей, могут работать без всякой затраты сил, единственно с помощью остроумия заложенной в них идеи. Стоило только первому землекопу появиться на территории рабочего городка—и вот уже десяток механических лопат ждут признания и применения в жизни. А проекты замены дерева соломой и глиной, а комбинированная мебель, объединяющая в одно очень громоздкое и неудобное целое и кровать, и стол, и керосиновую кухню. А сколько еще таких изобретений и проектов, о самой возможности которых трудно и додуматься—самодвижущаяся повозка, оказывающаяся обыкновенным, но очень первобытной конструкции велосипедом, самогонный аппарат, который, по словам изобретателя, может заменить в иных случаях более дорого стоящие двигатели, и, наконец, взрывчатое вещество, которое можно приготовить по идее изобретателя

из угля и двух других предметов, продающихся без особого разрешения в каждой аптеке губмедторга.

Все хотели помочь такому необыкновенному делу, как постройка рабочего городка, все хотели приложить, а при случае и погреть свои руки около этого необыкновенного и симпатичного дела, используя все доступные им средства—и страсть руководителя ко всему новому, и его преклонение перед наукой, и лозунг «лицом к деревне», и пролетарское происхождение, и инвалидность как физическую, так равно и духовную.

Юрий Степанович должен был разбираться в качествах людей и их предложений, в ценности принадлежавших им проектов, должен был, чтобы окончательно не потерять свою репутацию, каждого принять, с каждым поговорить, каждого обнадежить.

А как откажешь в приеме тем многочисленным лицам, которые приходили с письмами, записками и записочками от всех и тоже многочисленных лиц, которые так или иначе содействовали постройке. Подрядчики от товарища Ерофеева, за которых тот ручался, бухгалтера и статистики от товарища Ратцеля, молодые люди от профсоюза и комсомола, более или менее ответственные товарищи, направляемые на постройку губкомом—и барышни, наконец, направляемые ото-

всюду и ото всех. Эта разнообразная толпа отняла у Юрия Степановича весь день и захватила даже часть вечера, а там настоящие дела—разговор с архитектором о постройке, с Метчиковым об условиях найма рабочих и о жилищах для нанятых на работу строителей.

Только часам к семи Юрий Степанович чувствовал себя свободным от дел. Первым его движением было взяться за телефонную трубку.

— Марья Николаевна дома?

— Они с утра ушедши. Кто спрашивает?

— Когда же она будет?

— Ничего не сказали.

Этого Юрий Степанович не ожидал.

Ему казалось, что и она должна весь день думать только о нем, ждать его, следить за стрелкой часов с таким же напряжением, с каким следил он—и вдруг ее с утра нет дома.

Только в десять часов звонок и слабый голос Муси.

— Мне нездоровится. Если вам не будет скучно с больной—приходите.

Радость Юрия Степановича была так велика, что он не заметил даже столь очевидных противоречий в двух показаниях одного и того же телефона: ему нужно было видеть ее. То чувство, которое она так недвусмысленно проявила вчера,—не исчезло ли оно: вот какая мысль тре-

вожит всегда влюбленных. Странно применять этот эпитет к Юрию Степановичу,—но каким другим именем назовем его после всего, что о нем сказали?

Была ли в тот вечер Муся больна, или болезнь была только одним из многочисленных капризов ее—но только Муся действительно лежала в постели. На белой подушке в художественном беспорядке разбросаны золотые волосы, белое кружево рубашки, сквозь которую просвечивает грудь, обнаженные руки, будто бы в бессилии упавшие на одеяло—все это делало Мусю такой желанной и такой привлекательной.

— Дайте мне воды,—потребовала она. — Поправьте подушку.

Он дал ей воды, поправил пахнущую духами теплую подушку. Она без усталости болтала о вчерашнем вечере, смеялась, а потом вдруг как бы вспоминала о болезни, и лицо ее принимало усталое, страдальческое выражение.

— А этот ваш архитектор—я и не думала, что он такой... В синей рубашке, с бородой...

— Для оригинальности. Хочет быть интересным,—ответил Бобров, почувствовав за словами Муси нескрываемое любопытство к личности архитектора.

— Нет, он и верно ни на кого не похож. Сидит и мурлычет, как кот. А говорит сладенько, сладенько, словно... целует.

Муся засмеялась сухим взрывчатым смехом, показывающим особенное ее возбуждение. Этот смех показался Боброву неприятным,—как ни странно, он начинал ревновать Мусю к архитектору.

— Что же—он незаурядный человек,—ответил Бобров,—только слишком много притворяется, говорит всякие глупости и заставляет им верить.

— Что ты—глупости. Он умные вещи говорил. Знаешь о чем он вчера говорил? О любви...

Бобров тревожно взглянул на Мусю.

— Что ж тут удивительного? Говорил. Собственно не о любви даже, а о вине. Вино, говорит, как и любовь... маленькими глотками пить надо...

Муся опять засмеялась. Тревожное настроение нарастало и нарастало. Бобров попытался поближе подвинуть стул, чтобы касаться кровати, и даже положил руку на одеяло, чтобы незаметно прикоснуться к Мусе—но Муся заметила это и отняла его руку. Не было сказано ни слова—но Бобров чувствовал, что сегодня он неизмеримо дальше от Муси, чем вчера, и что сегодня она неизмеримо желаннее, чем вчера. Кто виноват в этом? Он сам? Архитектор?

\* \* \*

Большое дело, как и большую тяжесть, трудно лишь сдвинуть с места, но зато, раз приведенное в движение, оно идет силой инерции,

разрушая все препятствия, стоящие на пути. Но зато маленькое дело, которое так легко начать, тем больше и больше затруднений представляет в дальнейшем своем движении. Оно постоянно тревожит, постоянно волнует, требует постоянных забот и усилий. Такое маленькое и неважное и вдобавок личного характера дело стало отнимать у Боброва больше усилий, чем огромное дело постройки рабочего городка.

— Сказать ей все сразу, — и конец, — думал он возвращаясь домой: — Что же это на самом деле — она играть со мной вздумала.

Но такое, казалось бы, простое задание — прямо сказать, прямо спросить и получить ответ — оказалось невыполнимым. Она не понимала намеков, она не понимала даже прямых вопросов. Началась длинная и мучительная борьба, полная неожиданностей, волнений и тревог, о которых прежде герой наш не мог и догадываться. Казалось, что с ним повторяется один из забытых детских романов, с цветами, скамейками, свиданиями, глупыми мечтами и глупыми слезами. Если раньше он мог видеть Мусю в любое время, мог засиживаться у нее до поздней ночи, — то теперь это оказывалось почему-то неудобным. Всегда выходило так, что он встречался с нею в официальных местах, в присутствии посторонних, вдруг облепивших ее со всех сторон. То она

обедает вместе с Лукьяновым, то едет на прогулку с одним из безусых пажей, появившихся вдруг в довольно-таки большом количестве, то она идет в театр, а из театра ее провожает не он, а кто-то другой.

И вот—тоже по внезапному капризу—она нежно пожимает ему руку, взгляды ее наполнены любовью, она стремится быть ближе к нему, всячески подчеркивает его преимущественное среди всех остальных поклонников положение.

И вот—опять по внезапному же капризу—она дает ему каждым движением своим понять, что он только один из многих и что предпочтение, оказываемое ему, отнюдь не есть предпочтение перед этими многими.

Иногда она принимает личину добродетельной женщины старозаветного склада, боится излишних разговоров, косых взглядов провинциальных кумушек и на этом основании требует от него более редких и более коротких встреч,—иногда как-будто нарочно стремится оправдать свою репутацию свободной женщины, особенно подчеркивает особенный смысл своих отношений к Лукьянову, и даже не только к нему одному,—но и к другим лицам, но только не к Боброву.

Бобров злился, радовался, ревновал, возмущался, надеялся,—а все вместе составляло невыносимую для него тоску и постоянную тревогу.

Самое худшее во всем этом было, что посторонние люди стали замечать его состояние. Так Алафертов фамильярно спросил его:

— Ну как у тебя с Мусей? Не правда ли—славная бабенка!

И при этом так произнес последние слова, с таким выражением, точно она была всегда доступна и близка ему, только сам он, Алафертов, никогда не интересовался ею.

— Ничего,—невнятно отвечал Бобров:—только она меня теперь мало интересует. Ты сам знаешь, для чего она была нужна.

— Ой ли?—лукаво подмигивал старый друг и товарищ беспечального, как говорится, детства. И это «ой ли» переполнило Боброва бессильной злостью и ненавистью.

— Он добился,—а вот я...

Что и Алафертов, и Лукьянов, и еще кто-то—имя им легион,—все те, о которых говорила молва, действительно чего-то добились, Бобров не сомневался. Тем хуже для него, что он позволяет себя водить за нос этой женщине, этой публичной женщине,—как назвал ее когда-то Алафертов.

— Если она так,—решил он после этого разговора,—то она не дождетя от меня ни звонков, ни напрашиваний. Конечно. Эта комедия мне надоела.

В тайне он надеялся, что она первая вспомнит о нем и тогда все будет по иному. Первый день после этого решения Юрий Степанович с трудом воздерживался, чтобы не подойти к телефону и не спросить, где она будет вечером, и добиться от нее приглашения. Он неоднократно брался за трубку и снова опускал ее. Он ждал ее звонка и не дождался.

## XIX

Блаженство ты—и безнадежность.

*Ф. Тютчев.*

Юрий Степанович просиживал вечера добровольного одиночества в комнате, помещавшейся в том же театре, где и контора, близ молчаливой по ночам канцелярии, хранившей только в рассыпанных тут и там бумагах следы оживленной дневной работы, занимаясь неконченными в течение дня делами да своими собственными мыслями, то-и-дело уносившими его в уютную неузлобленную квартиру Муси. Только часу в двенадцатом выходил он на улицу, полную свежего весеннего теплого воздуха, и бродил в отдаленных от центра местах, где уж наверное не мог встретиться с Мусей и где наверное ничто не могло помешать одинокой прогулке задумавшего-

ся пешехода. О чем задумавшегося? О своем близком уже теперь к выполнению плане, о славе, которая ожидает его, о Мусе, затеявшей опасную игру, а, может быть, о том времени, когда не было ни плана, ни славы, ни Муси, ни опасной игры.

В одну из таких прогулок, выйдя из задумчивости, он увидел: белую церковь с высокой колокольней, решетку, сквозь которую видны желтые подметенные тропинки, зелень, памятники и кресты, улицу без тротуара, заросшую травой и низкими деревянными домиками, с неизменными цветами на окнах, может быть, только один из этих домиков с вывеской «сапожный мастер». Что именно он заметил—важно ли это?—только вдруг он остановился в недоумении, как человек, попавший не туда, куда шел, и еще больше,—как человек, наткнувшийся вдруг на непреодолимое препятствие.

Голубое платье мелькнуло у калитки, голубое пятно заполнило улицу, голубое пятно заполнило все перед ним.

— Нюра.

Пусть не будет для вас странным, читатель, что встреча, к которой, может быть, герой наш бессознательно стремился, произвела на него впечатление встречи неожиданной и неприятной. Первым движением было спрятаться, уйти, найти

защиту,—а спрятаться было и некуда и неудобно. Голубое платье маячило прямо перед глазами, маленькое, несколько похудевшее, но попрежнему миловидное личико, похожее по-прежнему на лицо веселого мальчишки-забавника и забияки, улыбалось ему.

Оставалось только быть бестрашным, как бестрашен бывает солдат, попавший в окружение врагов, которому нет иного выхода, как умереть,—с оружием ли в руках или при постыдном бегстве.

— Ты ко мне? Заходи,—сказала Нюра, продолжая смотреть на сконфуженного Юрия Степановича.—Да что ты—боишься, что ли? Не с'ем.

И она весело расхохоталась, показывая мелкие белые зубы.

Почему же так испугала Боброва встреча с Нюрой? Надо вспомнить, при каких обстоятельствах расстались они, надо еще сказать, что вслед за этим Бобров около месяца едва ли не ежедневно получал от нее то влюбленные, то угрожающие, то жалобные письма, читая которые он мучался, давая каждый раз слово пойти к ней, успокоить ее—и не решался, не почему-либо другому, а из боязни этой встречи, из боязни повторения тех же жалоб, слез и упреков. Мысль когда-нибудь, хотя бы случайно, встретиться с нею была мучительна. Что он

скажет, что скажет она, как он посмотрит в ее глаза...

И вдруг—вот она, лицом к лицу.

— Я не боюсь—что ты! Напротив, очень рад, что тебя встретил.

Он ждал—сейчас последует вопрос: отчего ты ушел от меня, почему до сих пор не был, зачем пришел, и дальше—неизбежные слезы, жалобы, упреки.

Но ничего этого не последовало.

— Ну ладно,—сказала Нюра.—Лучше поздно, чем никогда. Посмотришь на своего сына.

Это последнее замечание вогнало в краску нашего героя. «Сына». Зачем еще? Для чего?

Но отступить было поздно.

— Смотри,—торжествующим тоном сказала Нюра, раскрывая корзинку, в каких прачки носят на реку полоскать белье:—вот оно. Существо.

Существо это оказалось мальчиком, здоровым и пухлым, с пухлыми же румяными щеками. Он бессмысленно улыбался, глядя на Нюру, а заметив Юрия, скуксился и заплакал.

— Чужой,—сказала Нюра и, обращаясь к ребенку:—что, Кимчик, чужой? Это—папа, Кимчик. Твой папа...

Кимчик ничего не понимал и продолжал горько плакать.

— Он, наверное, есть хочет,—сообразила Нюра и, не обращая внимания на Юрия, раздевалась, готовясь кормить ребенка. Юрий смотрел на все это с двойственным странным чувством. Вся эта обстановка, и этот Кимчик, который почему-то называется его сыном, и Нюра в роли любящей матери казались ему глупыми, смешными, жалкими. И вдруг—эта же самая идиллия становилась ему почему-то приятной.

— Как ты теперь живешь?—неловко и глухо спросил Юрий. Он думал этим сказать, хватает ли денег, не нуждается ли она, не требуется ли его помощь. Она или не поняла или не захотела ответить.

— Как видишь—ничего. Ишь ты, оголец какой,—продолжала она, уже обращаясь к ребенку:—что, узнаешь?

Ребенок смотрел на Боброва во все глаза, не плакал, но зато был очень серьезен.

— Узнает!

Если бы Нюра сейчас пожаловалась на свою судьбу, если бы она сказала, что нуждается, если бы она взяла от него деньги—он был бы удовлетворен и спокоен. Но теперь оставалось обязательство, которое никак нельзя выполнить так, просто, рассчитавшись деньгами, и вместе с тем—чувство виноватости и перед Нюрой и перед этим ребенком.

— Я работаю,— ответила, наконец, Нюра,— получила службу,— вполне самостоятельный человек. Да, Кимчик?

Положила мальчика обратно в корзинку, встряхнула стриженными волосами и закурила папирску.

— А если ты в чем нуждаешься, то я,— начал было Юрий.

— Нет, что ты,— ответила она и отвернулась. Если бы он был внимательнее, если бы он меньше был занят собой и своими мыслями и своими настроениями, он заметил бы, что ее глаза полны крупных нечаянных слез. Но к счастью он не заметил этого.

На другой день обычная его прогулка снова закончилась тем, что он зашел к Нюре.

На этот раз его ждали. В комнатке было прибрано, на столе стоял тщательно подобранный букет полевых цветов, маленький Ким лежал не в корзинке из-под белья, а в колясочке.

Бобров на этот раз не чувствовал неловкости, он поддерживал ее болтовню, интересуясь школой, в которой она работала, комплексным методом, представлявшим для нее непреодолимые трудности, работой среди женщин и комсомолом.

А ее больше всего интересовала постройка.

— Ты покажешь мне ваш городок. Я была там, да меня не пустили,—с оттенком обиды сообщила она.

Бобров обещал показать. Засиделся он на этот раз дольше, чем вчера, она вышла провожать.

— Вот и наше кладбище,—напомнила она, когда увидела церковь и решетку:—зашли бы, да поздно. Заперто.

При этих словах она взглянула на Юрия и рассмеялась.

Улица была пуста. Все вокруг—и решетка, и деревья за решеткой, и желтые выметенные дорожки напоминали о прошлом, когда—год назад—в уединенной аллее они бродили по вечерам, держа друг друга за руки, пока колотушка сторожа не заявляла о том, что пора уходить.

Юрий и теперь взял ее руку, несколько минут они медленно шли вдоль ограды, потом неожиданно, как это было прежде, он прижался к ней всем телом и крепко поцеловал.

Она тихо, но властно отстранила его.

— Не надо... Не теперь...

И, отвернувшись, громко зарыдала.

— Чего же она хочет? Жить вместе с нею? Воспитывать детей?

Он представил себе почему-то такой же домик на Гребешке, трехконный, с занавесочками и геранью, ребенка, который называет его па-

пой. Все это он представлял в намеренно будничном виде, но почему-то мысли эти носили даже оттенок приятности. Нужно было усилие, чтобы эта картина стала отвратительной.

— Засасывает...

Он уже жалел, что встретился снова с Нюрой—как трудно будет теперь порвать с нею, зачем так недвусмысленно он выразил желание продолжать то, что было начато год назад: И поневоле, мысли его обратились к другой женщине, совсем другой, совсем непохожей.

— Муся, Муся...

Это повторенное два раза слово он наполнил упреком, горечью и сожалением.

\* \* \*

Обещание показать Нюре постройку скоро пришлось исполнить.

Бобров не мог не знать, что об этой поездке тем или иным способом будет осведомлена Муся. Это была решительная ставка—или окончательный разрыв или победа. Но он решил показать свою независимость, показать, что он вовсе не думает о Мусе,—и в то же время сердце его не могло не сжиматься боязнию:

— А вдруг она окончательно порвет с ним. Что тогда?

На слова Нюры:

— Ах как скоро приехали,

— он не ответил ничего, и сама Нюра маленькая, ненужная, до смешного наивная показалась ему лишней, вся затея—ребяческой, глупой.

— Узнает Муся, что скажет она,—уже с тойской думал он.

Юрию Степановичу редко удавалось вырваться на постройку,—где работа была еще более шумной, чем в конторе. Землекопы выравнивали бугры, то и дело откапывая и показывая архитектору глиняные горшки, медные монеты, человеческие черепа, попадавшиеся под лопаты. Повидимому, здесь в свое время было большое поселение, почему-либо исчезнувшее с лица земли. Почему? Не потому ли, что это место—нечистое, как выражается Михалок. Или, может быть, потому только, что когда-нибудь существовавший здесь брод перешел на версту вверх и вместе с ним переехал и город. Землекопы не занимались такими вопросами,—в их бараках усиленно обсуждался другой вопрос—о кладах, и некоторые из них, втайне от товарищей, по ночам выходили на разведки, каждый раз без особенного результата. Каменщики разбивали валуны и щебенку, плотники рубили первые венцы срубов, там подготавливались фундаменты, здесь столы из подсушенного леса выделывали стандартизованные рамы и двери—работа шла единым

фронтом: одновременно производились те операции, которые обычно следуют одна за другой.

Муравейник, расположившийся на Чортовом Займище, как и подобает всякому муравейнику, прокладывал от себя пути во все стороны. По дороге в город двигалась партия рабочих, спешно перебивавшая и расширявшая шоссе для будущего трамвая, другая партия стопудовыми бабами забивала в берега тяжелые сваи, которые должны были удерживать мост, соединявший поселок с фабриками.

По вечерам, на пространстве постройки, горели костры, раздавались то плясовые, то длинные песни и звуки излюбленной гармошки. Здесь, буквально ночуя, в том же самом годном на все сезоны пальто или в русской косоворотке, моталась без устали большая фигура архитектора.

Архитектор не ждал гостей.

Внимательно, по своему обыкновению оглядев Ньюру с ног до головы, он спросил:

— Что ж вы ее от меня до сих пор скрывали. А?

И шутовски потрепал Юрия по плечу.

— Ничего не скрывал,—ответил тот,— просто знакомая.

— Город хотите посмотреть, барышня? Что ж вы теперь увидите? Камень да щепки. Это только мы, строители, все видим. Вот это у нас главная

улица,—сказал он, указывая на покрытое щепами и бревнами пространство,—а вам кажется, что улицы никакой нет.

Обычно тихий и несколько слащавый голос архитектора стал еще тише в присутствии женщины, которая, очевидно ему понравилась. Он с удовольствием водил Нюру по всей постройке, объясняя, как что называется, что из чего делается: все это интересовало Нюру, как ребенка.

— А тут такую махину взгромоздим—и в самом городе такой нет. Деревянную, правда—а уж за то простор!—сказал он, когда дошли до площади, где месяц тому закладывали первый камень.

— Наверху вышка будет, и с вышки весь город—как на ладони. И тот и этот. Мы уж стараемся так сделать, что те—он указал на город—тоже к нам перейдут. А что ж такого,—ответил он на вопросительный взгляд Бобров:—разве не было случаев? Строиться-то теперь будут только на этой стороне—ну той и крышка.

— А помните, что вы говорили? На закладке-то?—напомнил Бобров.

— Не страшно!

Он зашагал крупными шагами к тому месту, где когда-то впервые показалась вода. Яма была не засыпана, а только покрыта досками.

— Здесь мы славную штуку устроим. Совершенно невероятную, скажете—наш колодец и во-

допровод, и фонтан. Представляете? У меня проект есть всю эту воду в трубы заключить. Только бы средства позволили...

Нюра интересовалась и ямой, наполненной водой, и водопроводом, и фонтанами, и трубами.

— А вот вам я еще что покажу, барышня,—сказал архитектор, лукаво улыбнувшись Боброву.— Пойдемте сюда.

Он зашагал вдоль реки мимо строящихся домов, мимо моста—Нюра с трудом попевала за ним. Бобров не понимал, куда он ведет и что хочет показать. Проектированный город уже кончился—начался высокий берег, на котором по первому проекту должно было строиться поселку.

— Вот здесь,—указал архитектор,—мой домик будет. Хорошее место. Вам нравится?

— Какой ваш?—спросил Бобров.

— А такой—надумал.—Надо же и мне что-нибудь... Хорошо?—спросил он Нюру.

— Очень,—ответила она:—а почему весь город не здесь?

— Это уж не от нас—мы люди маленькие... Вот Юрий Степаныч...

Юрий Степанович обиделся.

— Вы ведь отлично знаете, что я ни при чем.

Излишняя внимательность к Нюре со стороны архитектора казалась Юрию Степановичу странной. Еще более странным обстоятельством было

то, что Нюра слишком прислушивается к словам Галактиона Анемподистовича, задает праздные вопросы. Он был даже доволен, когда, подойдя к мосту, Нюра сказала:

— А можно мне через мостки пройти? Здесь мне ближе.

— Дадим пропуск,—пройдете,—ответил архитектор.

Бобров пытался провожать ее, но она отклонила:

— Я и одна... Прошайте.

— Любопытная—страсть до чего любопытная,—сказал архитектор, когда Нюра спустилась с обрыва к реке.—Молоденькая и много в ней такого всякого—а молодец. Право молодец. А вы как находите, Юрий Степанович?

— Вы не влюбились ли?

— А что ж,—поглаживая бороду, ответил Галактион Анемподистович,—я еще не старик.

\* \* \*

Расчеты Боброва оказались правильными. Муся узнала о поездке в тот же день и в тот же день прислала записку.

— Что так долго тебя нет? Приходи.

Записка была короткая, пожалуй даже деловая, но от нее пахло ее, Мусиными духами, ее воз-

духом, почерк был ее—мелкий неразборчивый, торопливый. Может быть, на такое приглашение следовало бы не отвечать, может быть, следовало бы выдержать характер, но Юрий Степанович был так обрадован, что тотчас же бросился к ней.

— Стыдно забывать старых друзей, — сказала Муся, протягивая ему руку.— Нехорошо.

Отвернувшись, сделала вид, что очень недовольна им, а вслед за тем—примиренным тоном:

— Я тебя прощаю. Мы будем ужинать вместе. Да?

После долгого, как ему казалось, перерыва Муся стала как бы чужой, но за то еще более неотразимой в своей деланной наивности, в кокетстве, в ежеминутной смене настроений.

В городском саду на открытой веранде они ужинали, пили вино. Муся смеялась, неосторожно прикасаясь к нему, говорила таинственным шопотом о вещах, ничего таинственного в себе не заключавших, и потом оставила его у дверей своего дома, задав на прощанье коварный вопрос:

— А вы меня скоро познакомите с вашей... женой?

Это «вы», и еще более—коварный смех, и то, что она убежала, не дождавшись ответа, переполнило Юрия Степановича досадой.

— Какая жена? Откуда она взяла?

Ему казалось, что отношения с Мусей окончательно испорчены, и прежнее мучительное состояние усугубилось сознанием своей ошибки.

— Она любит меня. Или любила. А я все испортил. Сам...

Три дня после этой встречи он никуда не выходил—и только на четвертый, не дождавшись приглашения со стороны Муси, пошел не к Мусе—а на Гребешок. Нюра не ждала его и встретила, пожалуй, несколько холодно. Он был еще холоднее с ней и ни одним словом, ни одним намеком не напомнил о том, что было так недавно у кладбища.

— А кто это мне ваш город показывал?—спросила Нюра—и засмеялась.

— Архитектор. Я тебе говорил о нем.

— Видно, большой чудак.

## XX

О старых долгах не может быть и речи.

*Из газетных статей.*

Единственно встречаться с Мусей, вдыхать запах ее любимых духов, слушать ее тихий придушенный голос, сухой взрывчатый смех, держать в руке ее маленькую сухую руку становилось потребностью для Боброва. Иногда нежные,

сказанные как бы в шутку, слова, иногда колкие, тоже сказанные как будто в шутку, замечания, лукавые улыбки, обещающие улыбки, улыбки просто кокетливые, вдруг нечаянно упавшее с плеча платье, взгляд, тайком брошенный из-под ресниц—без этого нельзя было жить, с этим—нельзя было чувствовать себя ни счастливым ни спокойным.

— Как поживает ваша... жена?

— Что вы? Откуда вы взяли! У меня нет никакой жены!

— А вот та самая... Шатенка... Ведь она очень, очень интересная... Мне нравится твой вкус...

Бобров не мог понять, знает ли она что-нибудь о Нюре, кроме того, что вместе с Нюрой он приезжал на постройку, но чувствовал, что она мучает его намеренно, и понимал, что ничего другого он и не заслужил.

Поездка на постройку, которой он думал возбудить ревность Муси, обратилась против него самого: он оправдал до тех пор ничем неоправдываемое поведение Муси.

Встречались они попрежнему только на людях—или в ресторане, или на прогулке, или у нее дома, но опять-таки при знакомых, которых опять-таки было больше, чем нужно. Однажды он пробовал дать ей понять, что встречи на людях ему надоели. Она ответила:

— А что будут говорить обо мне? И так уж слишком много говорят. Неужели ты не знаешь?

Заметив, что этот ответ не удовлетворяет Боброва, она пояснила:

— Ты думаешь, что мне безразлично? Верить сплетням? Ведь я знаю, что обо мне говорят, не хуже твоего знаю...

Бобров поспешил уверить ее, что никаких сплетен до него не доходило.

— Я все знаю... Говорят, что я вообще такая... Ну, как тебе сказать. Ты понимаешь. Что я торгую протекциями, что я... ну, одним словом, такие гадости... А ты веришь им. Ты ведь меня с детства знаешь—и веришь? Как это гадко с твоей стороны, как противно! И сам ты...

В голосе ее чувствовались плачущие нотки—Бобров мог предполагать, что этот разговор кончится истерическим плачем, может быть, обмороком, но кончилось так, как могла кончиться такая сцена только у Муси.

— Верить мне?—спросила она, протягивая ему руку.

— А Лукьянов,—как будто невзначай бросил он эту фамилию, не без тщетно скрываемой ревности.

— Ты думаешь,—сухо ответила она:—спроси у него. Он такой же друг, как и...

Она хотела, вероятно, сказать:—как и ты,—но во время остановилась.

— Как и все... Ты веришь?

Он должен был верить вопреки здравому смыслу и очевидности,—ведь только такой и может быть настоящая вера. Он должен был верить, когда ему говорили, что Муся больна и не выходит весь вечер, а в это время Муся была здорова, и у нее до поздней ночи засиделся товарищ Лукьянов. Он должен был верить, когда все доказывало противное.

Если не видеть ее, то хотя бы слышать ее голос через телефон, то хотя бы пройти мимо окон ее дома, или даже по той улице, где она живет, хотя бы разговаривать о ней—даже с Алафертовым, вспоминать ее слова, вспоминать ее взгляды и улыбки.

Те самые люди, смысл существования которых заключается только в том, что они «говорят»,—начали поговаривать и о Боброве, люди близкие к нему, общие знакомые с Мусей, стали с ним ласковее и словно жалели. Он понимал, что этот затянувшийся и ничего не обещающий впереди роман надо перервать,—и не мог, постепенно обращаясь в одного из многочисленных ухаживателей и вздыхателей, которыми окружала себя Муся. И только ни на чем не основанная самонадеянность позволяла ему думать, что он как-то вы-

делен из этой толпы и значит для Муси много больше, чем все остальные.

Так незаметно победитель в борьбе с огромными трудностями, человек, сумевший преодолеть застой и косность, сумевший поднять весь город, сумевший заставить не только говорить о себе, но и верить в себя, оказался побежденным в борьбе с маленькой очень, казалось бы, обыкновенной и вдобавок, на строгий вкус, не совсем красивой женщиной. Он прислушивался к ее малейшему желанию, к каждому ее даже неявно выраженному капризу, к каждому ее намеку и спешил предупредить ее желания, ее капризы, ее намеки.

Они проходили как-то мимо магазина, где были выставлены на витрине изделия ювелирного искусства, и, заметив, что Муся с особенным вниманием остановилась на жемчужном ожерельи и даже сказала, что это ожерелье должно пойти к ней, он затратил на покупку ожерелья все свои деньги, а так как их было мало,—то и часть денег оставшихся неизрасходованными от аванса. Вознагражден он был только тем, что Муся, получив подарок, сказала:

— Какая славная безделушка!

И даже не поблагодарила и не нашла времени остаться с ним наедине. Только восхищение, которое он подметил в ее глазах, послужило

ему наградой. Он считал восхищение это за крупный успех—и не задумался пред тем, чтобы найти такой же ценный подарок, преподнести его Мусе—и снова видеть ее восхищенные глаза.

— Ты очень тратишься,—сказала она ему как-то.—Зачем?

— Так ведь это же совсем недорого,—объяснил он.—И притом для тебя... Ты знаешь,—я перед тобой в долгу.

Ответом было легкое, но такое нежное и теплое рукопожатие, что Бобров мог чувствовать себя счастливым. Он в ослеплении своем не мог и предполагать, что загадочная фраза Муси о старых долгах получает такое банальное разрешение.

\* \* \*

В конторе рабочего городка все попрежнему шло своим чередом. Кабинет Юрия Степановича попрежнему осаждался людьми, ищущими успеха в своих житейских делах, и этому успеху благоприятствовали всевозможные обстоятельства: каждый день оказывалось, что нужен еще какой-то новый материал, и каждый же день оказывалось, что именно этого материала нигде нет и достать неоткуда. То было время, когда каждый гвоздь приходилось клещами вытаскивать из рук соперников, борющихся именно за этот гвоздь.

Ни страна, ни тем более средних размеров город не были подготовлены к широкому размаху строительства, а в то же время и там и тут наперекор планам и предположениям возникали новые и новые постройки: страна спешила удовлетворить необычайно возросшую за годы всеобщей разрухи потребность чинить, ремонтировать и строить. И пока большие города и центры только раскачивались, составляя рассчитанные на десятилетия планы,—мелкие города, местечки и деревни бросали тесные и грязные квартиры, перестраивались, надстраивались и отстраивались, расхватывая весь имеющийся на рынке материал.

Вдруг оказывалось, что нет нигде кровельного железа,—набрасывались на черепицу. Запасы черепицы иссякали также быстро, и большинству домов грозило остаться на зиму без крыши. Бросались в сторону наименьшего сопротивления и заменяли черепицу дранкой. Предметы, самые названия которых ассоциируются с представлением о вещи, потребной только в единственном числе, требовались в сотнях и тысячах; дверные ручки, задвижки, замки, крюки и петли,—все это требовалось в таких количествах, которых рынок не мог удовлетворить. Несоразмерно большое количество времени тратилось только на то, чтобы узнать, где что имеется, чтобы заказать, потребовать, выпросить нужный материал. Командиров-

ки, поездки и просто беготня отнимали время у самых ответственных лиц, которые, казалось бы, должны были сидеть на месте и следить за производящейся работой.

В то время, как высшие органы вели дискуссию о кооперации и частной торговле, в то время, как на улицах с каждого угла глядел на зрителя яркий плакат: покупайте только в кооперации— в это же самое время Боброву на свой страх и риск и ответственность приходилось снабжать возникающий на пустыре город материалом, предложенным частным рынком при посредстве главным образом известного нам Палладия Ефимовича.

Он оказался в деле самым необходимым человеком и вполне оправдал рекомендацию, данную ему Ерофеевым. Он отыскивал нужный материал там, куда свежему человеку, казалось бы, странно было и заглянуть: не в трестах, не в магазинах, не на базарах даже, а где-нибудь в винных погребках, темных трактирчиках, в отделениях милиции и даже чуть ли не в гепеу. Товар конфискованный, товар неликвидный, товар безхозяйственный и, наконец, попросту краденый товар,— все это шло на постройку через Палладия Ефимовича, окруженного личностями, самая внешность которых внушала подозрения относительно их уголовного прошлого. И всех этих темных личностей Палладий Ефимович знал, всех называл

по имени, отчеству, и все расшибали голову, только бы угодить ему.

— В тресте двадцать пять, на вольном рынке—сорок. Я достану за девять, если разрешите,—докладывал он Боброву.

— Где?

— Это уж мое дело, — усмехался Палладий Ефимович,—и на постройку откуда-то шли партии дверных ручек, партии выюшек, задвижек несколько пачек листового железа. На вопрос, где можно достать тот или иной товар, Палладий Ефимович поглаживал обыкновенно голый череп, вынимал из засаленного сюртука засаленную же записную книжку и вслух соображал:

— Здесь найдем десять. Тут—пятнадцать... А в этом месте, может быть, и триста, только цена высока. Подождать придется.

Ерофеев, заходя в контору, не раз спрашивал у Боброва:

— Ну, что мой Палладий Ефимович? Я вам горил—Соломонов ум!

— А он, говорят, немножко—тово,—напоминал Бобров ходившие по городу слухи о Палладии Ефимовиче, слухи, не совсем лестно изображавшие некоторые его нравственные качества.

— Следить надо,—строго отвечал Ерофеев.— Я не против того, чтобы все брать в трестах,—да вы сами понимаете. Явление, конечно, ненор-

мальное, но надо уметь пользоваться. Смотрите в оба.

Смотреть в оба? Это было легко сказать, но едва ли мыслимо исполнить. Дело не могло ждать, дело требовало, и под стихийным напором необходимости некогда было раздумывать о средствах и о путях.

Подписывая счета, договоры, требования, он мог только проявить чисто внешнюю суровость—и не больше того. Сомнительный вопрос можно было только отложить в долгий ящик—потом разберемся—а дело двигалось силой инерции, разрастаясь, разбухая, развертываясь, создавая вокруг неустанный движением и возмущенные этим движением слухи, толки и разговоры.

У лиц, стоявших во главе большого дела, появляются и большие потребности: прежде довольствовавшийся скромной ставкой, Бобров не нуждался ни в чем—теперь у него что ни день появлялись новые и необходимые расходы, которых даже менее скромная ставка не могла бы удовлетворить. Он получил легкую возможность отдаться любви к блестящей внешности, он получил легкую возможность развивать и то свойство человеческой души, которое называется широкой натурой. Распоряжаясь десятками и сотнями тысяч, разве не мог он выдать из своих личных средств десятку—другую нуждающемуся

просителю или настойчивому изобретателю и на отвод бухгалтерии заявить:

— Запишите в мой личный счет!

Обед в ресторане, бутылка вина, загородная прогулка, именины, день рождения или какой-либо другой праздник у Муси—все требовало денег, и некогда было соразмерять эти расходы с ничтожным окладом директора предприятия. Росли цифры значащихся за ним авансов, росли и пачки документов и расписок, а оправдывают ли они всю сумму аванса—Бобров не знал.

— Потом разберемся. Некогда...

И в то же время он понимал, что надо, наконец, взять и дело и себя самого в руки, что пора, может быть, ввести работу в более строгие рамки, что период развертывания кончился и начинается новый период—период размеренного, разверстанного выполнения календарного плана. Он должен был знать, что момент катастрофы неизбежен, и в то же время катастрофа пришла неожиданно и застала нашего строителя врасплох.

Неприятности выразились сначала в очень слабой форме. В кабинете Юрия Степановича появился молодой человек из числа юнцов, постоянно окружавших Мусю. Этот молодой человек представил Боброву записку от товарища Ерофеева с просьбой «устроить мальчика на какое-ни-

будь подходящее местешко»—как значилось в записке.

— У нас нет свободных мест,—ответил Юрий Степанович.

Юнец ушел, а на другой день—звонок от Ерофеева.

— Что ж это вы,—полушутливо, как всегда, спрашивает Ерофеев,—старые долги не хотите платить. Неужто у вас местешка не найдется? И паренек-то не велик—много ль ему потребуется.

Бесцеремонное, по обыкновению, заявление это нельзя было пропустить мимо ушей. Действительно, если кому обязан Бобров—то именно Ерофееву, первым поддержавшему казавшийся всем фантастическим план. Отказать в таком пустяке было невозможно.

Малец был принят в качестве помощника Алафертова. Но Алафертов счел появление мальчика за личную обиду.

— И так у нас штаты раздутые,—заявил он,—а вы еще набираете. Ему здесь делать нечего.

Полодить с Алафертовым было нетрудно, но на раздутые штаты поневоле пришлось обратить некоторое внимание. Бобров нашел, что контора действительно перенаселена.

— Неужели все эти люди нужны? Мы выгадываем каждую копейку на материалах, а тут непроизводительно уходят сотни рублей...

По предварительному подсчету оказалось, что можно выбросить половину населения конторы, достигшего плотности, по крайней мере, одного человека на квадратный аршин. Заготовительный период прошел—ничто не мешало упразднить ненужные теперь должности, ничто не мешало принять решение сократить штаты, но осуществить это сокращение оказалось значительно более трудным делом.

Заведующие отделами и подотделами оказались несговорчивыми. Они тоже, конечно, не отрицали, что избыток людского материала имеется, но полагали, что весь этот избыток сосредоточен где угодно, только не в подведомственных им отделах.

— Вот у товарища, имя рек, можно бы и посократить.

Товарищ, имя рек, ссылался на другого товарища, другой товарищ на третьего. Кто-то осмелился заикнуться, что управление делами тоже имеет лишних работников, но тут запротестовал Бобров.

В результате было уволено два или три человека, из числа тех, кто не мог похвастать особенно сильными связями, рекомендациями или славой незаменимого специалиста. Одни люди были действительно нужны и полезны, другие были ненужны и бесполезны, но зато уволить

их—значило испортить отношения с теми, кто их порекомендовал. А рекомендовали люди, полезность которых никто бы не решился оспаривать и отрицать. Были служащие, принятые по рекомендации Ратцеля, были служащие, принятые по рекомендации Лукьянова и даже по рекомендации самой Муси. Это, в общем, ничтожное обстоятельство поставило Боброва в невыносимое положение.

— Не слишком ли торопились уплачивать старые долги, не слишком ли много дали обещаний? Может быть, время рассчитаться?

— Рановато, — останавливал его Галактион Анемподистович.— Да и что беспокоиться—нам и работы-то всего на три-четыре месяца. Как бы хуже чего не вышло.

— Все-таки—лишние деньги.

— Где наше не пропадало. Возьмите в процентном отношении—такие пустяки.

Но «наше» стало пропадать там, где, казалось бы, этого не должно было случиться. Известный нам по Слуховщине Михалок явился к архитектору с жалобой, что склад выдает плохой лес.

— Сыроват немножко,—объяснял он.—Строить-то, понятно, можно, только нехорошо получится. Я ведь к тому говорю, чтобы на меня поклепа не было...

Архитектор вызвал заведующего складом—тот отговорился тем, что лес принят по весне, когда

в конторе работал Палладий Ефимович, и что он, разумеется, каждого бревна при приемке осмотреть не мог.

— Выдаю, какой есть.

Бобров был экстренно вызван на постройку.

— Сыроват лесок-то, верно, что сыроват,—говорил архитектор, показывая ему забракованные плотниками бревна.—Да только не это меня беспокоит—а вот что...

Он отколупнул с одного бревна кору—дерево оказалось покрытым белыми точками, кое-где белоснежной тончайшей ватой, кое-где—пестрыми, лиловыми, розовыми бугорками.

— Гниет?

— *Merulius lacrimans*,—ответил архитектор.

Название этого опасного разрушителя было непонятно Юрию Степановичу.

— Грибок,—объяснил архитектор.—Такое дерево в стройку не годится—весь дом заразить может.

Было легко отобрать зараженные грибком бревна, было легко поставить на склад специалиста, который бы предварительно осматривал лес,—было легко, наконец, распорядиться пилить бракованные бревна на дрова и выслушать шутовское по обыкновению замечание архитектора:

— Нужно и о дровах позаботиться.

Но было нелегко найти виновников этой возмутительной и даже преступной небрежности, и еще труднее было удовлетворить голос справедливости, требовавший наказания виновников.

— Кто принимал?

— Палладий Ефимович.

— Под суд,—закричал было Бобров, которому фигура товарища Мышь была всегда неприятна.

— Что вы, что вы,—остановил его архитектор. У него сильная зацепка. Как бы нам вместе с ним под суд не попасть... Ошибочку исправить надо—и следить, главное—следить в оба...

— Как же исправить-то?

— Расходики, конечно. Тепловая сушка, искусственная. Спешка-то ведь у нас какая—что бы лесу-то выдержаться дать, ну хоть еще годик. Все торопимся, торопимся, торопимся...

Этим, может быть, дело и кончилось бы, если бы на завтра в местной газете, рядом с сообщениями о быстром росте рабочего городка, о грязи в бараках, об испорченном мясе, которое было выдано строителям, не приютилась такая же маленькая, но гораздо более обидная заметочка:

— Для кого строят эти дома, и что глядят наши заправилы? Выдают дерево, которое для стройки негодно. Не пора ли положить конец этому безобразию!

## XXI

Поговорим о первых днях Кавказа,  
О Шиллере, о славе, о любви.

*А. Пушкин.*

Газетная заметка, кстати сказать, несколько запоздалая, была, конечно, явлением пустяковым: можно было дать солидное опровержение, подкрепленное обещанием расследовать дело—и все было бы кончено, но все предшествующие обстоятельства, неопытность Юрия Степановича и, главное, его личные довольно-таки запутанные дела сделали положение невыносимым. Да, были, сделаны ошибки, да, были допущены злоупотребления—все это факты не такие значительные, по сравнению с обширностью проведенной им работы—но может ли он сегодня, сейчас позвать кого угодно и сказать:

— Проверьте. У нас все чисто.

А отчет, а крупный аванс?

Эта мысль повергала его в состояние, при котором человек способен пойти на верную гибель, только бы избавиться от угнетающих его в данный момент настроений.

Этими настроениями и временным этим замешательством и воспользовался враг.

Юрий Степанович не знал и не видел вокруг себя врагов: наоборот, он всегда чувствовал себя в окружении дружески настроенных людей. И почему бы ему не чувствовать себя среди друзей? Не им ли создано огромное дело, не ему ли обязаны все те, кто так или иначе принимал участие в этом деле, кто так или иначе получал от этого дела материальную ли, моральную ли пользу. Никто не был обижен или обделен, все долги и обязательства, даже самые ничтожные, исполнялись,—откуда же могли явиться враги?

Он не знал одного: для того, чтобы нажать врага, не надо никого обижать, обделять или оскорблять, не надо никому причинять вреда—достаточно только сделать что-либо, чего другие сделать не смогли, чтобы сразу же у тебя появились враги из числа тех, кто ни при этих, ни при каких-либо иных обстоятельствах сделать ничего не может, но зато вполне и с успехом может заменить вас в созданном вами же предприятии.

Он не знал, что эти неведомые враги не выйдут открыто, не скажут:

— Мы твои враги—бойся нас.

Не выступят против него на заседании или в комиссии, или на совещании, а неизменно, сохраняя самую дружественную улыбку, постараются уто-

пить его в ложке воды, ими же заранее весьма предусмотрительно приготовленной.

И поэтому Юрий Степанович не увидел ничего дурного в том, что один из многочисленных друзей, увидев задумчивость его, подошел к нему просто, по-человечески, по-дружески, как только может подойти приятель твоего беспечального, как говорится, детства, и как человек, кроме того, всем Юрию Степановичу обязанный.

— Не пора ли нам сдать отчет,—напомнил он, пользуясь правом управляющего делами.

Бобров прекрасно понимал, что отчет сдавать давно пора, что все сроки прошли, и смутился, может быть—на минуту, но быстро оправившись от смущения, ответил:

— Хорошо. Я сегодня займусь... Все некогда было.

Всякий управдел удовольствовался бы одним напоминанием, но не удовольствовался им старый товарищ и друг беспечального детства. От него не могло ускользнуть ни едва заметное смущение, ни некоторая неуверенность тона, ни невольно опущенные глаза.

— Юра, я спрашиваю тебя как друг. У тебя нехватает каких-то пустяков? Да?—сказал он, положив руку на плечо Боброва.

Бобров мог бы ответить:

— Не беспокойся. Это тебя не касается.

Но так можно ответить кому угодно, только не старому приятелю, подошедшему с самым искренним намерением помочь ему, выручить из вполне возможной беды. Бобров промолчал.

— Знаю,—продолжал Алафертов,—и удивляюсь, почему ты сам до сих пор не сказал мне. Я специалист в делопроизводстве и в бухгалтерии тоже не промах. Сделаю так, что комар носа не подточит. Сколько у тебя не хватает? Какие пустяки! Я думал, куда больше. Это мы в два счета спишем...

И, увидев обрадованные глаза Боброва:

— Ох, уж эти мне великие люди. Ты ведь никогда не отличался практической сообразительностью, Юрий. Не в обиду тебе говорю,—ведь ты человек незаурядный. А как просто было в твоём положении. Командировку устроил бы, выписал суточные... Ведь я понимаю, что при миллионных делах нельзя обойтись грошовой ставкой.

— Как же это ты сделаешь?—спросил Бобров с облегчением человека, которому предлагают верное средство избавиться от грозящей опасности.

— Предоставь мне. Ни сучка—ни задоринки.

— Делай как знаешь,—ответил Бобров. Он был доволен, что выпутался из затруднительного положения, но гораздо больше его был доволен сам Алафертов.

Алафертов, до сих пор остававшийся в тени, займет на время центральное место в нашем повествовании, и потому необходимо сказать несколько слов и **об** этом скромном герое.

Мы встретили Алафертов на первых страницах повести в качестве молодого человека без определенного положения, без определенного дела, но впрочем с довольно-таки определенной репутацией мало надежного и мало способного человека. Но прежний Алафертов—не то, что Алафертов теперешний. Не место красит человека,—говорит традиционная пословица,—но разрешите, дорогие читатели, признать правильность этой поговорки с некоторыми ограничениями. Не всякое место красит человека, скажу я: не говоря уже о месте на скамье подсудимых, не красит человека и место конторщика или счетовода на восьмом и даже десятом разряде,—но место управдела крупнейшего предприятия может и очень даже может украсить человека, занимающего подобный пост. Такой человек не может быть человеком с сомнительным прошлым,—такой человек может быть только человеком с несомненным блестящим будущим, и таким с блестящим будущим человеком был теперь Алафертов.

Занятый неотложными и важными делами и получивший к тому же дополнительную нагрузку в виде постоянных заседаний и комиссий, Юрий

Степанович не мог справиться с работой один и поневоле многое поручал своему управделу. Молодой человек, принятый на место помощника управдела, в свою очередь развязал руку Алафертову—и фактически Алафертов обратился в заместителя директора, пользующегося на правах старого друга неограниченным доверием и постепенно присвоивающего принадлежавшие Боброву функции.

И само собой разумеется, что остаться в тени и бесследно исчезнуть в тот момент, когда кончится горячий период, Алафертову не хотелось. Он должен воспользоваться своим положением, он должен не только замещать Боброва фактически, но и показать, кому надо, что он естественный заместитель Боброва. Он появляется вместо Боброва на заседаниях, совещаниях и комиссиях, он выступает с докладами, он стремится к тому, чтобы его представительная фигура затмила фигуру блестящего строителя. А тут на его счастье или несчастье—заминка в деле, некоторые небрежности, злоупотребления, непогашенные авансы. Ищут виновников,—может быть, этим виновником окажется он, Алафертов?

Предлагая Боброву услуги в погашении аванса, Алафертов, прежде всего, страховал себя от могущих быть неприятностей, но в то же время он открывал себе поле для новой игры. Игра

эта мыслилась, может быть, сначала в форме мелкого шантажа, игра эта мыслилась, может быть, в форме использования дружеских отношений и вверенной ему тайны для обделывания мелких, но дающих крупные материальные выгоды делишек, но карта была настолько велика, что заставила Алафертова поставить на нее все, что он имел.

Обещание, конечно, было выполнено.

На другой же день в конторе появился скромный человек, носивший скромную же и притом галантерейную фамилию—Галстух, с предложением поставить для постройки кирпич на чрезвычайно выгодных условиях. Он отрекомендовался представителем союза кустарных кирпичных заводов соседней губернии, пред'явил необходимые документы и мандаты и заключил договор, несмотря на явное неодобрение Палладия Ефимовича, неодобрение, объяснявшееся, может быть, тем, что гражданин Мышь увидел нежелательного конкурента.

— Я по глазам вижу,—заявил Палладий Ефимович,—ему денег давать не стоит.

— Как же так? Им ведь придется расширить производство,—возразил Бобров.

— Десять процентов мы всем даем,—подтвердил Алафертов,—чем же он хуже других?

— Дайте,—распорядился Бобров.

Сделка при крупном размахе предприятия не представлялась особенно крупной, полученный

человеком с галантерейной фамилией аванс совсем уже мелким, сумма была выдана из средств, находившихся в руках Алафертова, расписка дана на имя Боброва и проставлена задним числом. Боброву даже в голову не пришло, что эта сделка имеет связь с погашением его аванса и тем более не мог предположить последствий этой незначительной сделки.

— Что же кирпич?—интересуется неделю спустя архитектор.

— Где же ваш Галстух?—ехидно спрашивает Палладий Ефимович.

Ни одного воза кирпича не было привезено на постройку. Всполошились рабочие, десятники, мастера.

— Разыскать Галстуха. Взыскать с него неустойку!

Бросились по указанному в договоре адресу, бросились в указанный договором союз кустарных кирпичных заводов,—нигде и помина не было о человеке с галантерейной фамилией. Он бесследно исчез и с договором, и с кирпичем, и с полученным им авансом.

— Ты рекомендовал его,—набросился Бобров на управляющего делами.

Алафертов нагло усмехнулся:

— А из чего мы покрыли аванс?



Не слишком ли много сделано ложных шагов, не слишком ли много дано — и еще хуже — не слишком ли много исполнено обещаний, не слишком ли дорогой ценой обошлось выполнение давнишней мечты, не заблудился ли он в тех кривых путях, тупиках и переулках, которыми вели его обстоятельства и рука первого советника Галактиона Анемподистовича Иванова?

Муся, Палладий Ефимович, гнилые бревна, кирпич, Алафертов — это были только этапы избранного архитектором кривого пути. Куда он завел? Как из этого положения выпутаться?

Не лучше ли было, когда безвестным молодым человеком Юрий Степанович бродил по городу, лелея сумасбродный план, считая разговоры с архитектором ни к чему не обязывающими, и встречался по вечерам с Нюрой, в простоте душевной считавшей себя самой передовой и свободной женщиной в мире?

Что было тогда? Были надежды. Что теперь? Слава? Любовь? Не дурная ли слава, не рабство ли вместо любви?

— Что это вы? Неужто вас так кирпич ушиб? Надеюсь, не до смерти, — сказал архитектор, с первого взгляда заметивший подавленное настроение Юрия Степановича.

Бобров не ответил на шутку. Нелепая фигура архитектора, маленькая голова, узкие глазки, всегдашние шуточки показались ему отвратительными.

— Я вас предупреждал. Я не виноват,—неизвестно, в чем оправдывался архитектор.

— Вы не виноваты,—возразил Бобров,—так я виноват—зачем я вас слушался.

— А не слушались бы, ничего бы и не вышло. Я так считаю—ни я, ни вы ни в чем тут не виноваты. Обстоятельства таковы, Юрий Степанович. Возьмите этот самый лес: тут все, как в стакане воды, ясно. Добились мы, чтобы нам этот лес уступили? Добились. Разрешили мужикам за свой страх рубить?..

— Не разрешали.

— Вот-те и сказал. Да тем самым, что рубить начали, уже разрешили. Туман рассеяли. А не покупать у мужиков этот же самый лес, вылежавшийся в болотине где-нибудь, мы могли? Не могли! Нужен он был нам—до крайности нужен. А все из-за того, что обязались построить в одно лето. Два бы годика—вот это туда-сюда. Скажите, мы могли не обязываться?

— Можно было бы многого не допустить. Просто темные лица присосались,—защищал Юрий Степанович свою точку зрения.

— А этого товарища Галстух могли не допустить?

Вопрос этот застал Боброва врасплох. Значит, и он знает. Откуда?

— Ошибка,— еле шевеля губами, ответил он.

— А старые долги тоже ошибка?

Бобров понял, на что намекает архитектор, но этой мысли он никак не мог допустить, хотя и не один раз шевелилось подобное подозрение в его измученном неразрешимыми вопросами мозгу.

— Ну, это вы напрасно, Галактион Анемподистович. Вовсе не так...

Архитектор засмеялся, уложил бороду на грудь и посмотрел на Боброва не то с жалостью, не то с насмешкой.

— Допустим. Вы скажете—некоторые люди присосались. Темные, вы скажете, люди. А мы-то с вами такие уж светлые личности? Хе-хе! Будем на чистоту говорить, коли на то пошло: вы знали, на что шли, а иначе и начинать не следовало. Какие это личности мы называем темными? Кто основной своей задачей считает не дело, в котором и для которого он работает, а свои личные цели, которых через это дело добивается. А вы—разве вы построить хотели? Скажите по правде! Только ли?

Бобров молчал, уставившись глазами на красное сукно стола и разглядывая на нем маленькое чернильное пятнышко. Если закрыть правый глаз и левым внимательно всматриваться в пятнышко,

то получится человеческое лицо. А если смотреть, закрыв левый глаз—это портрет Наполеона. Вот треуголка, скрещенные руки, упрямый профиль...

— Всякий своего добивается—и с этим бороться нельзя, Юрий Степанович. Вам нужна слава...

Юрий Степанович вздрогнул—он никогда не мог предполагать, что тайные его мысли так просто будут разгаданы архитектором и так безапелляционно высказаны прямо в глаза. Возражать? Разве можно возражать.

— Ну, положим и так.

— Я ведь вас и не обвиняю. В будущем обществе, по моему, это единственным двигателем останется. Не спорьте, не спорьте... Как теперь мы накапливаем материальные блага, так тогда будем накапливать блага нематериального порядка. Неправда? Освободиться от материального... Ох, как нелегко!..

Бобров по опыту знал, что лучше не спорить с архитектором; спорить можно, когда возражения проистекают из одних и тех же предпосылок, но как можно спорить, когда предпосылки разные.

— Палладий Ефимович добивался богатства—заодно с Ерофеевым, пожалуй... Марья Николаевна...

При этом имени Бобров поднял глаза. Неужели он повторит теперь уже без намеков и обвиняков

то, на что только намекнул недавно? Неужели она... такая?

— Марья Николаевна, — продолжал архитектор, принимая внимательный взгляд Боброва, — любви...

Этого Юрий Степанович не ожидал.

— Н-не думаю, — ответил он.

— Что вы? Женщина, чего бы она ни добивалась, всегда хочет любви. А некоторые только руки погреть хотели—это уж хуже всего. А если бы не было всего этого—вышло бы у нас? Никогда бы ничего не вышло. Разве мы собрались бы для общего дела во имя этого общего дела? Нет. Разбрелись бы в разные стороны. А теперь все вместе—и вот строим. И построим. Люди благодарить нас будут.

— Что же мы построим?

— И славу, и богатство, и любовь. А, в конце-концов, незаметненько так—вот вам и город. В каждом, если позволите, чорт живет, а вместе собрались—вот вам и церковь божия...

— Ну, это слишком уж пессимистично...

— Оптимизм, молодой человек, оптимизм. Прогони чорта—ничего не останется. Пресно будет, плесень заведется... Каиново это дело вся наша культура—я уже вам имел честь однажды докладывать....

Юрий Степанович решительно встал с кресла.

— А все-таки, что вы там ни говорите, надо бороться. Убрать всю эту мерзость и поставить честных людей.

— Честных людей? Оставьте вы все это малым ребятам! С честностью только в карты играть— и то шулерам больше везет. По моему, продолжать надо—и все эти разговоры по боку.

Бобров не мог согласиться. Первый раз за два почти года знакомства с архитектором разговор с ним не успокоил Юрия Степановича и ни в чем не убедил. Он еще больше уверился в том, что была сделана ошибка, и еще больше укрепился в решении эту ошибку исправить.

## XXII

К нам едет ревизор...

*Н. Гоголь.*

Опровержения опровержениями, заявление о том, что расследование производится и виновные будут найдены,—заявлением, но положение наших строителей поколебалось, и получили возможность зашевелиться люди, которые так или иначе были недовольны управлением постройки, или самым характером ее, или не успели получить свою часть от этого дела, или получившие такую долю участия, которая позволила им сохранить незапятнанной совесть и честь. Зашевели-

лись, наконец, и обыватели, которым все на потребу, лишь бы была опорочена ненавистная им советская власть, обеспечивающая, кстати сказать, безбедное существование этим же самым обывателям. Что они могли делать? Только нащептывать, только наговаривать, но и этого достаточно. По городу пошли распространяемые с быстротой радио слухи о якобы грандиозных хищениях, раскрытых на постройке рабочего городка, разукрашенная вымышленными подробностями история с зараженным грибок лесом передавалась из уст в уста, не была оставлена в стороне даже Муся, которая фигурировала в сплетнях в качестве дамы, усыпанной бриллиантами, закупленными строителями города вместо необходимого им кирпича.

— И баба-то, понимаете,—сухая дрянь!

— Что только он в ней нашел?

В учреждениях барышни переписывали составленные местными стихокропателями памфлеты, стишки эти передавались начальству, и то принимало уже от себя меры к дальнейшему их распространению. Слухи скоро приняли такие формы, что общественное вмешательство оказалось неизбежным: все в один голос требовали ревизии. Настал момент, когда имеющий право судить и осуждать, когда полномостный хозяин явился и поставил суровый вопрос:

— А что вы скажете в свое оправдание?

И в оправдание нельзя было представить теории о кривых путях, как нельзя было в оправдание аванса представить расписку от ювелира.

Метчиков, один из главных деятелей, не порвавший до сих пор связи с рабочими—будущими обитателями города, первым высказал мнение этих рабочих.

-- Правду ли говорят?—спросил он Боброва.

— Отчасти и правду—уклончиво ответил Бобров.

— Узнать, кто виноват,—и всех расстрелять!

Он еще не избавился от некогда господствовавшей и ныне сданной в архив точки зрения на борьбу со всякого рода затруднениями.

— Погоди,—ответил Бобров:—может быть, и ты не меньше других виноват. Мы все не досмотрели.

Метчиков сразу осекся. Повидимому, применение универсального метода к его собственной особе не улыбалось ему.

— Я тут ни при чем,—сердито ответил он:—жулики крадут, а я отвечаю.

— Надо собраться и поговорить.

Во всех коллегially управляемых учреждениях и во всех даже единоличных учреждениях, принадлежащих к советской иерархии, лучшей панацеей от всяких зол считается, как известно,

заседание. Посидеть час, посидеть два, просидеть всю ночь, наконец, в накуренной комнате выслушать все мнения, все суждения и предположения, зафиксировать все эти мнения, суждения, предположения и предложения в протоколе—и разойтись с тяжелыми от табака и речей головами, или не приняв никакого решения или приняв решение снова собраться и снова обсудить тот же вопрос, но зато с сознанием добросовестно исполненной работы и права на некоторый, после этой работы, отдых.

Подобное заседание решено было устроить и в конторе постройки. Но в отличие от обычного типа, заседание это было открытое, с приглашенными, в качестве не только слушателей, но и равноправных членов, рабочими. С одной стороны, подобный демократизм уже заранее отводил все обвинения, так как заправила постройки выступали, что называется, с открытым забралом, а с другой стороны, присутствие большого количества посторонних лиц затыкало рты тем из товарищей, которые хотели бы выступить с серьезными обвинениями. На таком заседании обвинениям не может быть места: на таком заседании можно говорить лишь о том, что у нас все обстоит благополучно, а если сознаваться в ошибках, то относя эти ошибки к более или менее отдаленному прошлому.

В этом и заключалась суть доклада развернутого архитектором перед собравшейся аудиторией. Фактами, цифрами, доказательствами документального характера и потому неопровержимыми архитектор убедил всех, что управлением проделана огромная работа в условиях совершенно невероятной трудности, что достижения и успехи полностью и даже с избытком покрывают недочеты и ошибки, которые извинительны уже и потому, что на ошибках мы, помилуйте, учимся.

Странное дело, но это так. Торжественная ли обстановка публичного заседания тому виною, или на самом деле толки и слухи не основывались на сколько-нибудь реальных основаниях, но только меньше всего повторялись на этом собрании эти толки и слухи. Вопросы носили скорее характер мелких придирок:

— Почему товары покупались на частном рынке?

— Придите в контору и убедитесь: на частном рынке брали то, чего не было на государственном.

— Почему строят из сырого леса?

— Потому что никакого другого на рынке не имеется.

А больше вопросов, если не считать неважных и не относящихся к существу дела, ни у кого

не нашлось. Но Юрий Степанович не удовольствовался столь легкой победой: ему надо было окончательно снять с себя все подозрения, и по его предложению избрана была ревизионная комиссия, обязанная немедленно же проверить все данные отчета, сделанного управлением.

Пусть расходившиеся по домам рабочие, тяжело ворочая упрямыми мозгами, поговаривали, что им втерли очки, вспоминали, что они не догадались задать тот или иной казавшийся им важным вопрос, опять повторяли все те же сплетни и слухи, но дело было сделано, слухам и сплетням дан надлежащий отвод.

Оставалось только сделать второй шаг по тому пути, на который вступил Юрий Степанович. Он вызвал архитектора и, не спрашивая у него ни совета, ни одобрения, заявил:

— Я решил уволить сейчас же двух главных виновников.

— Меня... и вас?—шутливо спросил архитектор.

— Оставьте,—сурово ответил Бобров.—Вы знаете, о ком я говорю. Палладия Ефимовича Мышь и Алафертова.

Архитектор неодобрительно покачал головой и заиграл на груди длинными тонкими пальцами.

— Вы—окончательно? Ведь дела-то не больно важные—видели наших ревизоров? Ерунда! А впрочем в ваших руках власть. Как хотите.

Договорились, наконец, на том, что Палладий Ефимович будет уволен без всякого шума и по возможности с ведома Ерофеева.

— Я думаю, что им хватит... Согласятся. А как же ваш этот?... Может быть, вы договорились бы с Алафертовым?

— Как договориться?

— Может быть, согласится. Шуму, поменьше шуму... Вы понимаете.

Галактион Анемподистович показал на свой несуществующий галстук. Бобров понял намек и покраснел.

-- Это мое дело.

— Ну, а если так, то Алафертов—пара пустяков, как говорится. Удивительно теперь говорят, Юрий Степанович.

Галактион Анемподистович, которого ни серьезность вопросов, ни серьезность Боброва, выступавшего впервые в качестве его непосредственного начальника, не могли вывести из обычно шутливого настроения, поднялся, расставил руки и изобразил оратора:

— Не бузьте, товарищи, а то вылетите колбаской. Я, право слово, скоро в молодежь запишусь. Вот говорят!..

Бобров улыбнулся.

— Откуда вы таких слов набрались?

— Э! Знаю, да не скажу. А все-таки вы попробуйте, договоритесь. Что вам стоит!

Бобров сделал попытку договориться. Вызвав Алафертова, он по-дружески предложил ему:

— Ты должен уйти. Подай заявление об отставке.

Алафертов опешил. После того, что он, как думалось ему, сделал для Боброва, он не мыслил возможности подобного предложения.

— Ты что это, Юрий? Почему так?

— Ты знаешь лучше меня. Пипни заявление или будешь под судом. Понимаешь?

Алафертов побледнел, сжал зубы.

— Неизвестно, кто будет под судом—ты или я. Ты пожалеешь об этом.

— Там посмотрим.

\* \*  
\* \*

На рассмотрении ревизионной комиссии было два дела: о поставке гнилого леса и о поставке кирпича.

— Виноват заведующий заготовкой, — заявил Бобров.—Мы уже устранили его. Можете вызвать и допросить.

Немедленно явился Палладий Ефимович, имевший вид жестоко и незаслуженно обиженного человека.

— Я жаловаться буду,—кричал он! — лес на складе испортился.

Комиссия задала Палладию Ефимовичу несколько вопросов и тоже нашла, что небрежность, проявленная им, не являлась преступной. Но все-таки председатель комиссии заявил:

— Суд разберет, кто прав, кто виноват, товарищ Мышь.

С поставкой кирпича дело оказалось еще менее сложным. Бобров, ни словом, конечно, не упоминая о дружеской беседе с Алафертовым, об авансе, о своем затруднительном положении, заявил, что был введен в заблуждение Алафертовым, рекомендовавшим несостоятельного подрядчика. Алафертов до такой степени тонко обставил дело, что никаких обличающих директора улик не осталось,—повторять же в комиссии сплетни о жемчугах и бриллиантах он не решился: да и к чему бы это привело?

-- Мы не можем за каждого человека ручаться, что он не сбежит,—сказал в свое оправдание Алафертов.

Архитектор представил соображения о трудности заготовительной работы в условиях товарного кризиса на строительном рынке:

— На что угодно пойдешь—только бы достать. Не оставаться же без кирпича.

— А вы прежде знали этого подрядчика?

— Нет.

Знал его только Алафертов.

Юрий Степанович мог бы торжествовать победу. Казалось, что он благополучно выходит из этого тяжелого дела, чтобы дальше вести работу иначе, не делая ложных шагов и очевидных ошибок.

Ревизия закончилась благополучно: тяготевшие над самой постройкой обвинения были сняты. Город строится, работа разворачивается, отдельные ошибки в общем масштабе незначительны и вполне исправимы, к тому же они оправданы объективными обстоятельствами: спешностью дела и недостатком материалов. Виновники ошибок и упущений уже устранены.

Но снято ли было обвинение с Юрия Степановича Боброва, формально оставшегося незапятнанным?

— Что такое ревизия?—Подготовились.

— А кто ревизовал?—Свои же люди. Много они понимают. Бухгалтер их как угодно проведет... Одна шайка!

Это именно обстоятельство и учел Алафертов.

Формально устраненный от дел, он только теперь получил возможность иметь на эти самые дела вполне реальное влияние. Почему он остался виноватым? Потому только, что в руках Боброва была власть и тот ловко сумел свою власть

использовать. Если бы власть принадлежала Алафертову, виновным остался бы сам знаменитый строитель,—а почему Алафертову не может принадлежать власть? Достаточно, если кто-то более сильный, чем Бобров, и обладающий большим авторитетом встанет на сторону Алафертова.

А этого при желании и напряженной работе всегда можно добиться.

Кто такой Бобров? Выскочка, случайный человек, несмотря на все свои идеи и проекты. Он не может похвалиться ни специальной подготовкой, ни опытом, ни знаниями, ни умением вести дело. Его место может занять каждый, даже не имеющий семи пядей во лбу,—и почему это место не может занять Алафертов? Задуматься над тем, имеет ли он сам эти особые знания, умение вести дело, опытность, подготовку, словом, необходимые семь пядей во лбу, Алафертов не имел ни времени, ни желания, опираясь, как и все в подобных случаях, только на отрицательные доводы.

Бобров, снова ушедший в ежедневную работу, сделавшуюся еще более трудной, чем когда-либо, первое время не замечал, что каждый его шаг регистрируется, что кто-то внимательно изучает его деятельность, его распоряжения, его личную, наконец, жизнь. Но там и тут глухое брожение прорывалось угрожающими вспышками. То он за-

мечал, что лица, прежде беспрекословно повиновавшиеся ему, стали высказывать, умеренную впрочем, склонность к самостоятельному мышлению, то вдруг его распоряжение опротестовывалось каким-либо из органов, казалось, давно вабывшим о праве протеста; увеличились конфликты с рабочими, и даже внутри конторы—недоразумения с заведующими отделами и подотделами, усилившиеся особенно в связи с проводимым Бобровым за его личной ответственностью сокращением штатов. Наконец, в довершение всего Юрий Степанович сделался жертвой памфлета, ударившего по самому уязвимому месту. В одном из номеров стенной газеты появился рисунок, изображающий женщину, в которой при желании можно было узнать Мусю с ожерельем из кирпичей. Под рисунком, в качестве подписи, стояло только название известной в то время кинокартины: «Женщина с бриллиантами», но зато ниже, заметка за подписью «Рабкор» описывала в беллетристической форме поездку какого-то ответственного работника за город, при чем были подробно перечислены все вина и закуски, которые действительно были на одной из прогулок Боброва, и приведены некоторые фразы, которые Бобров не мог не признать сказанными им самим. Дальше—маленькая, нравоучительная сказочка повествовала о приключениях молодого

человека, который думал облагодетельствовать весь мир, а облагодетельствовал только самого себя: молодой человек, изображенный на рисунке был вовсе не похож на Боброва, но за то все особенности его костюма были изображены безукоризненно.

Эти заметки, из коих ни одна не содержала ни прямых нападок, ни обвинений, были представлены, куда нужно, и на некоторых лиц оказали несомненное действие. В тех местах и учреждениях, где до сих пор относились к Боброву без всякого оттенка неприязненности или недоверия, теперь стали смотреть на него подозрительно. Он не мог не заметить, что при его появлении замолкает еле слышимый шопот, кто-то старается убрать во-время не спрятанную улыбку. Покамест только шептали, но разве не могли заговорить вслух, если к тому представится удобный повод?

А в поводах не могло быть недостатка.

История с подрядчиком, носившим галантерейную фамилию, кроме незначительного материального ущерба, имела и другие последствия. Кирпича не было—будущему городу грозило на зиму остаться без печей. В другое время подобное затруднение не вызвало бы ничего, кроме сочувствия и желания помочь, теперь же Боброву приходилось выслушивать больше колких замечаний,

чём дельных советов. Товарищ Лукьянов, неизменно до последнего времени приятельски относившийся к Боброву, и тот во время разговора по делу, вовсе не относящемуся к кирпичу, спросил:

— А как кирпич? Надо что-нибудь предпринять.

— Кирпич будет,—должен был ответить Бобров, сохраняя в тоне неоспоримую уверенность, но самый факт возможности подобных вопросов огорчал нашего героя, до тех пор не знавшего неудач.

Кирпич постепенно делался злобой дня. Кампания со столбцов стенной газеты перекинулась в общую прессу. «Ищут кирпича»—шутливо общала одна заметка. «Неужели нас заморозят»—спрашивал письмом в редакцию один из рабочих, будущих обитателей нового городка. Наконец, кирпич же нашел Юрий Степанович на своем письменном столе. Кто-то предупредительно прислал ему образчик этого редкого товара, чтобы Юрий Степанович всегда имел перед глазами роксвое пресс-папье.

— Что вы думаете по поводу кирпича?—запрашивали уже официальные органы.

Приходилось отписываться, изворачиваться, лгать.

-- Нельзя ли как-нибудь разрешить вопрос одним ударом,—предложил Бобров Галактиону Анемподистовичу:—ведь вы говорили, что материал всегда под рукой. Устроим кирпичный завод, что ли.

Эта смелая идея заинтересовала архитектора.  
— Почему бы и нет. А?

Он победоносно усмехнулся, погладил бороду и с подчеркнутым уважением посмотрел на Боброва.

-- А ведь вы большие успехи оказываете. Отчего бы и нет? Ведь идея.

-- А вы сумеете организовать?

— Еще бы,—сердито ответил архитектор, не допуская и возможности сомнений в своих организаторских талантах.—Только подумать надо, поискать.

Этот разговор успокоил Боброва, но не надолго. Слух о кирпичном заводе распространился среди заинтересованных лиц и вызвал всеобщие насмешки, говорили, что время потеряно, что теперь уже поздно, что нужно было подумать раньше и, наконец, что не нужно было делать из кирпича бриллианты, чтобы теперь не пытаться делать из бриллиантов кирпич. Общий голос был:

— Опоздали.

Бобров злился, Бобров негодовал. Он чувствовал во всей этой кампании чью-то направляющую

руку, но чья это рука, он не знал. И эту руку он не мог удержать, не мог остановить—она была вне его власти.

Газетные заметки, слухи, мелкие уколы, косые взгляды...

— Может быть, действовать напрямик. Поговорить с Лукьяновым—он должен понять, ведь так невозможно работать.

Что в сущности произошло? Да, он оказался не на высоте, да, он оступился,—но кто на его месте мог бы похвастать, что не ошибется, не оступится, не сделает ложного шага. Тем более, что он немедленно пытался исправить ошибки, тем более, что ни один суд не смог бы обвинить его теперь, за недостатком материалов для обвинения.

Да, надо поговорить с Лукьяновым, не теряя ни минуты, пока рука, направляющая кампанию, не вынесла на всеобщий суд вполне доказанных обвинений. Лукьянов всегда так хорошо относился к нему, так приветливо хлопал его по плечу, так дружески улыбался...

Но на этот раз—ни дружеской улыбки, ни приветливого похлопыванья по плечу. Конечно, он беда не подал, что ему известны слухи и сплетни, но хмурый взгляд, тон его голоса и снова появившееся на его лице равнодушное сонное выражение не предвещали ничего доброго.

— Можно все потерять,—решил Бобров и, ограничившись несколькими вопросами, касающимися неважных и мелких дел, ни слова не сказал из числа тех слов, которые заготовил, направляясь к председателю губисполкома. Он вышел из кабинета Лукьянова, понуриив голову, и, внимательно разглядывая блестящие в солнечных лучах паркетные клетки, не заметил презрительной улыбки секретаря, с первых дней не благоволившего к Боброву, а потом втайне завидовавшему его головокругительному успеху.

— Может быть, Муся,—вспомнил Бобров, когда улица привела его в густые аллеи общественного сада, связанные с воспоминаниями о первой полудетской любви...

— Да, может помочь только одна Муся. Значит—все рассказать ей. Может быть, давно надо бы поделиться с ней своими опасениями, страхами и неудачами...

Выбирая путь покороче, он направился к Мусе, но не дойдя еще до ее дома, увидел, высокую фигуру молодого человека в белом кителе: человек этот вышел из того дома, где жила Муся, бросил взгляд в сторону Боброва и, вероятно, заметил и узнал Юрия Степановича, ибо слишком поспешно пошел в противоположном направлении и поспешно же скрылся в переулке.

— Алафертов. Он был здесь. Зачем? Ведь он никогда не заходил прежде.

Смутная, неопределенная догадка:

— Значит—все это—дело его рук?

Может быть, подождать, зайти потом. Чего ждать? День, час, минута—неизвестно, когда подстережет его враг и обрушит карающую, мстительную руку.

— Терять теперь нечего.

Он смело поднялся по лестнице—несколько замедлил шаги на последних ступеньках, долго топтался у двери, рассматривая визитную карточку Муси, прилаженную ржавыми кнопками, и неуверенно прикоснулся к звонку.

Муся даже не встала из-за стола. Муся даже не улыбнулась. Она холодно протянула ему руку, холодно спросила:

— Что нового?

Бобров несколько минут стоял у ее стола, не решаясь сказать ни слова. Муся тоже молчала и за эти несколько минут ни разу не взглянула на Боброва.

— Ну, что же. Я пойду. Ты занята,—наконец, проговорил он, и подал ей руку.

Муся не выдержала характера. Может быть, его рука, крепко сжавшая ее пальцы, может быть, вопросительный и прибитый последний взгляд Бо-

брова заставил ее вместо того, чтобы холодно сказать:

— Прощайте...

почти истерически выкрикнуть:

— Вы торопитесь к вашей жене и ребенку... Не оправдывайтесь, я все знаю... И не только это... Зачем ты обманывал меня?

И спрятала сухие неплачущие глаза в маленькие ладони.

Бобров должен был понять, что оставаться здесь он не имеет права.

Из конторы, закончив трудовой день, выходили многочисленные служащие. Весело улыбающиеся барышни, обрадованные тем, что кончился день нелюбимой работы, ответственные и безответственные, с портфелями и без портфелей, выходили из подъезда конторы шумной говорливой толпой. Похоже было на театральный разъезд: и все приветствуют Боброва, кто поклоном, кто улыбкой, кто дружеским рукопожатием, приветствуют его, как актера, исполняющего главную роль в пьесе, которая вот уже несколько месяцев не сходит с репертуара. Не прощальные ли это приветствия, не прощальные ли это улыбки?

Бобров прошел через опустевший зал в кабинет, запер дверь на ключ, чтобы на свободе обдумать свое положение, но судьба и в этом уединении не хотела щадить его. На письменном столе

ожидала его предусмотрительно развернутая кем-то повестка, которая приглашала Юрия Степановича на заседание президиума губисполкома, собиравшегося рассматривать вопрос о постройке и в частности—о пресловутом кирпиче.

## XXIII

Завтра—казнь...

*А. Пушкин.*

Боброву теперь стало ясно, что таинственная рука, направлявшая кампанию против него, принадлежит Алафертову, и ясен был план Алафертова: компрометировать его безответственными обвинениями, распространяемыми в форме слухов и газетных заметок, подорвать тем самым его авторитет, шантажировать пресловутым кирпичем, а затем, когда ответственные и имеющие власть лица, а в особенности товарищ Лукьянов, склонны будут не доверять Боброву,—отрезать ему все пути отступления, поссорив с Мусей. А завтра, может быть, президиум губисполкома постановит, в виду отсутствия каких-либо против него серьезных улик, дать ему месячный отпуск, а, может быть, даже новое назначение, чтобы затем постепенно оттереть на задний план, лишив таким образом не только будущих, но и всех его прежних заслуг.

Как трудно было вознестись на вершину, так просто с этой вершины упасть: что скажет он завтра? Разве помогут его слова и оправдания, когда уже заранее нет веры ни его словам, ни его оправданиям? Каждый его ответ может быть высмеян, каждое его предложение может быть отвергнуто. Не важнее ли, чтобы кто-то на этом совещании поддержал своим авторитетом пошатнувшийся авторитет блестящего строителя, чтобы кто-то своим доверием заставил замолчать недоверчивых и скептиков.

Значит—надо помириться с Мусей. Здесь может помочь только она. Но что наговорил ей Алафертов? Жена и ребенок? Какие пустяки! Она знает отлично, что если это и правда, он бросит их по одному ее слову. Алафертов мог сказать и, вероятно, сказал другое. Разве он, Бобров, ни разу не проговорился, что смотрит на Мусю, как на средство для каких-то своих целей, что он обманул Мусю с первых же слов, что он и теперь продолжает обманывать ее каждым своим словом, каждой своей улыбкой, каждым рукопожатием.

— А ведь женщина всегда ищет только любви,—вспомнил он слова архитектора.—Даже когда не любит сама,—мог бы добавить он к этому изречению.

Медлить и раздумывать некогда. Если нельзя притти к Мусе и лично оправдаться перед ней,

если того, что он хочет сказать, нельзя доверить телефону—надо написать письмо и ждать ответа.

Ведь он дал слово верить ей—почему она не может один раз поверить ему?

Письмо было написано. Юрий Степанович вышел из своей комнаты в пустую вечернюю канцелярию. В темноте молчаливый огромный зал, наполненный столами, машинками, настольными лампами, казался чудовищем, в молчании которого чувствовалось нечто угрожающее. Оно шевелится это чудовище—вот-вот зашелестят брошенные на пол листы бумаги, вот-вот сами собой затрещат умолкшие машинки. Уже началось: раздаются чьи-то тихие покамест шаги. Надо крикнуть курьера—но как раздастся голос в этой угрожающей тишине?

— Юрий Степаныч, я к вам.

Призрак это или живой человек? В темноте, вдвое увеличенная этой темнотой высокая человеческая фигура, мягкий вкрадчивый голос.

— Это вы, Галактион Анемподистович? Что так поздно?

Щелкнул выключатель—вспыхнувший тотчас же свет убрал зловещие тени, столы стали просто столами, машинки—просто машинками с небрежно надетыми на них чехлами, бумаги на полу—просто бумагами, брошенными за ненадобностью, чтобы не загромождать столов, высокая, чудовищно вы-

сокая фигура—просто архитектором, поднятая вверх голова которого и смеющиеся узкие глаза говорили о его радостном, возбужденном настроении.

— Откуда вы?

— Работаем!.. Да и вы, я вижу, не спите...  
Имею кое-что сообщить...

— Погодите, я только письмо пошлю...

— Кому письмо?—Галактион Анемподистович мельком взглянул на адрес:—успеет, вы сначала послушайте... Кирпичный завод через три дня работать начнет. Поняли? А я виниться пришел,—добавил он, самодовольно поглаживая широкую бороду:—знаете, через кого я это делишко обтяпал?

— Ну?

— Через Палладия Ефимовича.

— Опять?

— Это уж в последний раз. Головой вам ручаюсь. Надо же человека до конца использовать—а вину на себя беру, каюсь...

— Как же все-таки. Ведь это невероятная вещь.

— Для нас, Юрий Степанович, для нас, а не для него. Вот если мы пойдем в совнархоз, да нам ответят «приходите завтра», да если мы выпишем оборудование из центра, или из-за границы, да будем просить разрешений или еще там чего—конечно, невероятное дело. А для него это просто,

покамест. Он тут с малых лет мотается и знает, что где лежит. Работали же тут мелкие кустари? Работали. Припрятали кое-что? Конечно припрятали. Нам с вами не скажут, а он найдет. Прихожу к нему, рассказываю свой план.—Это, говорит, можно. Поскреб свою плешь, книжечку достал и все вспомнил. Прямо с хозяевами завод купим—они у нас и работать будут. Только дорого за это дело он требует...

— Отдать, сколько захочет...

— Зачем же зря. Поторгуюемся. Это он для последнего раза запросил—а ведь власть-то у нас. Мы в случае чего и припугнуть можем. А это что у вас,—обратился Галактион Анемподистович внимание на повестку, так и оставшуюся лежать на столе.—Эге-ге. Тут дело-то, выходит, серьезное...

— Против меня целая кампания,—объяснил Бобров.—И знаете кто? Алафертов.

— Ну вот. А что я вам говорил? Письмецо-то не по этому ли поводу посылаете? Что у вас с ней вышло?

Скрывать от архитектора было нечего.

— Я решил поговорить с Лукьяновым на чистоту. Пусть как хочет, может отдать под суд, а мне надоело. Вы как думаете? Прямо-то лучше...

— Ну еще бы,—уклончиво ответил архитектор и ехидно улыбнулся.—Поговорить надо с предсе-

дателем губисполкома—а письмецо к кому? Так, так... Прекрасно...

— В последний раз—ответил Бобров. Он похож был в эту минуту на уличного в шалости школьника, оправдывающегося перед заставшим его на месте преступления учителем.

— А потом,—продолжал иронизировать архитектор,—прямым путем. Так что ли?

— Прямым путем—не значит переть на рожон,—нашел Бобров нужное оправдание.

— Ну ладно, ладно... Оказываете успехи. Хвалю...

Учитель утешал нашалившего ученика, у которого, несмотря на утешения, больно горели уши.

— Посылайте письмо-то, что же. А мне, может быть, разрешите остаться, пока она вас не позовет.

— А если не позовет?

— Что вы?

Письмо отправлено. Юрий Степанович ждет ровно столько времени, сколько требуется, чтобы письмо дошло. Он ждет еще десять минут,—на всякий случай. Он ждет еще пятнадцать минут.

— Неужели она не ответит? Что тогда?

— Ответит.

Галактион Анемподистович с улыбкой наблюдал непонятное ему волнение Боброва.

— Да она из одного любопытства вас пригласит. Плохо вы их знаете.

Бобров не разделял оптимизма архитектора. Он молча ходил из угла в угол, отсчитывая шаги. Каждый шаг—секунда. Взад и вперед—полминуты.

— Нет, не ответит. Может быть, ее нет дома.

— Терпение, терпение...

Галактион Анемподистович смотрел на Боброва, и маленькие его глазки лукаво посмеивались. Молчание. Мерные шаги по кабинету. Один шаг—да. Другой шаг—нет. Если дойти до стены и у стены будет—да, значит да.

— Нет.

Еще раз—это неверно. Надо до трех раз.

И вдруг—стол прорвался гулким прыгающим звонком телефона. Бобров взял трубку—дрожащей рукой, приложил трубку к уху не тем концом. Поспешно переложил трубку в другую руку—но трубка не слушалась и прыгала в его руках.

Неуверенно, тихо:

— Слушаю...

И в ответ—серьезный, словно бы не Мусин голос, надутый, неласковый, чужой.

— Приходи. Жду.

«Она наверное в черном платье,—подумал Бобров:—к этому голосу так идет черное наглухо

застегнутое платье, поджатые губы и задумавшееся, пожалуй некрасивое лицо».

— Что я говорил,—торжествующе сказал архитектор.—Кто оказался прав? Я, как всегда. Да вы. не очень-то торопитесь—успеете. А я пока здесь посижу—ладно. Разрешите мне вашим телефоном воспользоваться...

— С кем вы хотите говорить?

Галактион Анемподистович поднял бороду вверх и весь наполнился беззвучным лукавым смехом.

— А вам-то что? Может быть, даже с тем, с кем вы только-что говорили...

\* \* \*

Муся была не в черном платье, губы ее не были поджаты, и лицо вовсе не выглядело ни задумавшимся ни опечаленным. Напротив, оно улыбалось и цвело, как ромашка. Что означает эта внезапная перемена? Надолго ли? Может быть, очередная хитрость... Но нет, не похоже...

Муся забралась с ногами на диван, усадила его рядом с собою и, закрыв глаза, выразила тем же лание слушать без конца.

— Ну что же? Рассказывай...

Но не дала ему сказать и двух слов.

— У вас ведь прекрасно дела идут, да? Мне сейчас архитектор звонил, все рассказал. Ты не говоришь, так я от других могу узнать...

Муся отвернулась, и ее губы выразили легкую скоропреходящую обиду.

— Веселый такой... Я и не знала, что он у вас такой чудак... Знаешь что? Он женится...

Муся расхохоталась громким взрывчатым смехом.

— Кто?—удивился Юрий Степанович.

— Да он же—Галактион Анемподистович. Я, говорит, хоть сейчас готов, да с невестой не могу поладить. Я хочу в церковь, а она, представьте себе,—комсомолка. А не хочет, говорит, так я и один в церковь пойду. Нельзя же ее силком заставить...

Эта новость оказалась неожиданной для Боброва.

— Он мне ничего не говорил. Может быть, шутит.

— Что ты? Так подробно описал—как будто я сама видела. Шатенка, глаза зеленые, ходит в мужской рубашке... Ну что у тебя—рассказывай...

— Ах, знаю, знаю... Алафертов. Вот не ждала—такой милый молодой человек.

Через несколько минут:

— Что ты говоришь? Растрата?..

Глаза ее стали серьезными, большими:

— Значит, виновата — я. Ты очень меня ненавидишь? Признайся, ты ненавидишь?

— За что же? Ведь я сам...

Она схватила его руку—глаза ее приблизились к его глазам:

— Значит, я для тебя дороже всего. Дороже... Ну как сказать—вообще... Ведь да?.. Верно?... Верно.

— Что ты спрашиваешь!

Муся спрыгнула с дивана и потащила за собой Юрия Степановича.

— Смотри—вот они, все твои игрушки. Видишь—с пломбами—я их и не трогала. Очень они были мне нужны... Бери их, отдай назад!

Юрий Степанович не спрашивал, почему ее глаза горели таким неподдельным восхищением, когда она принимала эти подарки, он не спрашивал, почему она прятала их в ящик и даже не трогала и ни разу не надевала их. Ей были они не нужны,—зачем же тогда...

— Теперь это уже не поможет,—грустно ответил он.

— А что же поможет?—спросила она с лукавой торжествующей улыбкой.—А кто хотел, чтобы я из-за него поссорилась со всеми и в том числе с известным ему лицом... Кто? Неужели ты до сих пор ничего, ничего не заметил? Неужели ты когда-нибудь думал, что я так глупа и наивна... Иди... Чтобы никто, никто,—она приложила палец к губам,—не узнал, что ты был здесь.

Ведь все это касается теперь только меня. Ты понял? Веришь?

\* \*  
\*

Алафертов предполагал, что дело уже сделано, что настала минута выступить открыто и открыто свалить блестящего строителя, блеск которого ныне уже потускнел, который ныне обратился из смелого революционера только в ловкого авантюриста. Он пришел на правах старого знакомого к председателю губисполкома, надеясь нанести здесь последний удар своему противнику.

— В чем дело?—спросил председатель. Его усталое, несколько ожиревшее лицо не выражало ничего, кроме обычного равнодушия.

— Да, я вас помню, как же, мы знакомы.

Алафертов повторил все известные уже нам сплетни о Боброве, о жемчужном ожерельи, стараясь не называть Мусю по имени, о растраченном авансе, о подрядчике с галантерейной фамилией. Председатель в это время внимательно разглядывал лежавший перед ним блок-нот и изредка улыбался. Что он видел на белом листе бумаги—лукавые глазки Муси или, может быть, новый город с широкими прямыми проспектами...

— А у вас есть доказательства?

Председатель поднял теперь уже серьезные глаза и остановил их на Алафертове.

Алафертов полагал, что после всего сказанного никаких доказательств не требуется, и молчал. Председатель тоже молчал, продолжая смотреть в глаза Алафертову, который все ниже и ниже опускал голову.

— Мне все известно,—сказал он, наконец.—Вы говорите—украли? А если тебя туда посадить,—неожиданно перешел он на ты,—ты еще больше украдешь! До свиданья.

Алафертов вышел из кабинета.

Заседание президиума прошло гладко. Правда, Ерофеев посмеивался в широкую свою бороду, глядя на Боброва, правда, каждое заявление Боброва принималось с осторожностью и взвешивалось с исключительной серьезностью, правда, что ничего приятельского, дружественного в отношении Боброва никто не проявил, но в общем, его деятельность была одобрена, а самое главное—он оставался на своем месте.

Что повлияло на такое решение? Незначительность ли тех упущений, которые были допущены Бобровым, личная ли симпатия председателя губисполкома к молодому строителю или нежелание в самый разгар нарушать начатую работу. Возможно, что одинаково повлияли все эти причины.

Может быть, перемена управления постройки была сочтена за уступку обывательскому мнению, уступку, подрывающую и самую власть, открывая простор злоречию и злорадству. Некоторое недоверие к строителю выразилось лишь в том, что на место Алафертова был прислан партийный товарищ, похожий в общем и целом на восклицательный знак. Этот восклицательный знак мог усиливать авторитет Боброва и одновременно мог служить для некоторых знаком удивления решению губисполкома, знаком восхищения для других—и знаком того, что за Бобровым строго следят и малейший его проступок теперь будет строго наказан,—для всех и каждого.

Алафертов все-таки не успокоился. Он пробовал было снова начать кампанию, но куда ни обращался он в качестве всеми гонимой справедливости, всюду спрашивали у него:

— А доказательства? Хорошо, мы проверим.

Но с проверкой почему-то не торопились: то ли самые раскрываемые им факты были ничтожны по сравнению с таким огромным делом, то ли ничтожны были пред'являемые им доказательства, то ли ничтожен был сам человек, взявший на себя роль гонимого служителя истины.

## XXIV

Все чаще я по городу брожу,  
Все чаще вижу смерть—и улыбаюсь.

*А. Блок.*

Встряска, происшедшая в конторе рабочего городка, мало чем затронула жизнь на пустыре, постепенно все больше и больше оброставшем почти готовыми постройками, обращаясь из склада материалов в настоящий, хотя и незаконченный, город. Там работа шла своим чередом, попрежнему землекопы выравнивали новые и новые улицы, попрежнему топоры плотников врезались в свежее недостаточно просохшее дерево, работали фуганки в столярной мастерской, мотался из конца в конец неугомонный архитектор, шевеля и тревожа артельщиков, старост, десятников, инженеров. Волнения и тревоги городка передавались немедленно в контору, контора чутко отвечала на все требования, применяя всю возможную изворотливость, чтобы тысяча рабочих не осталась ни на один день без дела.

Боброву встряска эта принесла решительную пользу. Он стал менее величественным, меньше заботился о пышности обстановки и соблюдении всех установленных форм, но зато больше заботился о самом деле, вникая теперь в каждую мелочь, не доверяя ни управделу, похожему на

восклицательный знак, ни кому-либо другому из работников. Он понимал, что от его работы в течение оставшихся трех месяцев зависит все, он понимал, что его преступление не забыто, что карающий меч готов ежеминутно обрушиться на него. Он стал суровым, серьезным и почти злым, требовательным и черствым. Теперь уже нельзя было называть его походя «молодым человеком»,—что-то далеко не молодое сквозило в складках его губ и в усталых теперь глазах, прежде являвших разве только беспечность и молодость. Все его внутреннее существо как бы вытянулось в направлении к единственной цели.

Муся, имя которой подвергалось стольким пересудам и сплетням, уединилась на некоторое время и редко теперь виделась с Бобровым. Она стала особенно серьезно заботиться о том, чтобы не стать и впредь мишенью для стрел обывательского злословия, и, как умелая актриса, играла она теперь роль невесты, всегда скромная, даже застенчивая, так что при взгляде на нее никому и мысли не могло прийти о ее доступности. Встречи с ней перестали быть для Боброва мучительными—появилась ровность и некоторая отдаленность, словно невидимое препятствие отделяло их друг от друга. Настойчивая прежде и нетерпеливая страсть заполнила его ровным, но полным и глубоким потоком. О Нюре теперь он

и не вспоминал—даже смешно было ему вспоминать, и только одно обстоятельство представило снова повод для разговора о ней.

Проезжая как-то мимо Гребешка на Грабиловку, он заметил на улице две удивительно знакомых ему фигуры: одну—пожилого высокого мужчины и другую маленькую—женскую. Женщина бежала, еле угоняясь за широкими шагами мужчины, и говорила о чем-то без устали. Мужчина больше молчал, то и дело улыбаясь и поглядывая на маленькую женщину, с чувством своего превосходства и с нелепой для такого большого человека ласковостью.

Это были архитектор и Нюра.

— Что вы там делали?—спросил Юрий Степанович архитектора.

— А вам что?—ответил тот и вызывающе поднял вверх свою бороду.—Она у меня на стройке была, а я ее провожал оттуда. Пройтись захотелось.

И не желая продолжать этот разговор, сообщил:

— А кирпичный-то завод—открыт уж. Не хотите ли посмотреть? Плоховато, и техника примитивная, да что ж делать. Успеем еще и расширить, и оборудовать. Говорил я вам, что материал всегда под рукой—была бы голова на плечах.

— И руки, — поправил Бобров.

— Это уж само собой. Я же и говорю—под рукой.

\* \* \*

В числе первых построек закончено было центральное здание на площади, в котором должен был, по мысли строителей, помещаться местный рабочего городка исполком, театр, столовая, клуб; туда же предполагалось теперь же перенести строительную контору.

Бобров поехал осматривать помещение.

— Сейчас будем ставить флагшток,—сказал архитектор.—Хотите посмотреть?

Здание по плану заканчивалось высокой шестигранной стеклянной башней, над башней—трехгранный шпиль сажени в полторы, а на шпиле—высская мачта, тонкой иглой врезающаяся в небо, заканчивалась флагом с государственным гербом и названием нового поселка. Тонкая по плану игла оказалась на деле одним из самых высоких деревьев во всей Слуховщине—толстым и тяжелым бревном, которое требовалось поднять и установить.

Бобров и архитектор прибыли, когда мачта эта висела в воздухе на тонком канате, перекинутом через блок. Рабочие внизу вертели деревянный барабан, и вместе с движением барабана двига-

лась и мачта, поднимаясь все выше и выше.—А не порвется?

Боброву, которого, несмотря на то, что он вот уже год считался строителем, до сих пор пугал вид маляра, свесив ноги сидящего на крыше пятиэтажного дома, операция эта показалась опасной. Вот-вот сорвется. Вот-вот упадет.

Привычный к подобным работам архитектор на замечание своего спутника внимания не обратил.

— Ну, что вы!

С прибытием начальства работа оживилась. Мачта поднималась все выше и выше, один из рабочих с крыши управлял ее движением, отталкивая в тот момент, когда мачта стремилась зацепиться за выступы и углы здания. Увидев Боброва, рабочий замешкался и не заметил, что движение мачты прекратилось. А внизу в это время еще сильнее накручивали барабан, натягивая канат, напряженно дрожавший в воздухе.

— Эй, давай еще! Эй, сильнее!—распоряжался десятник.

Канат натянулся, как струна.

— Кто там на крыше—смотри в оба!

Канат вдруг изогнулся, как проволока, один конец его взметнулся в воздухе и тотчас же упал, а сверху, с крыши раздался не крик и не стон, а долгий протяжный визг.

Мачта лежала на крыше, и под ней извивался и визжал черный комок, делая руками и ногами движения, подобные движениям раздавленного паука.

Глухой голос внизу при всеобщем молчании:

— Сорвалюсь.

Опущенные руки, застывшие улыбки, застывшие неоконченные движения.

— Убили,—закричал Бобров и бросился к лестнице. Архитектор взял его за плечо и оттащил в сторону.

— Погодите. Чего вы? Разве можно так волноваться?

По лестнице уже спускали рабочего, который теперь не кричал, а только изредка вздыхал, поджимая руками живот и попережнему корча ноги. Сотни строителей побросали свой инструмент и столпились на площади. Автомобиль с пострадавшим громко загудел и, пробиваясь сквозь обступившую его толпу, двинулся в город. Толпа молчаливо провожала его глазами.

Ни одно из больших человеческих дел не обходится без кровавой жертвы. Это, может быть, та самая жертва, которую некогда перед началом дела приносили Молоху, Ваалу или какому-либо другому кровожадному и дикому богу кровожадных и диких людей. Теперь эти жертвы приносим мы во имя отвлеченного бога культуры на всех наших фабриках, заводах и шахтах и

даже на городских улицах и площадях, в начале, в конце и в середине каждого дела. Но эти привычные, казалось бы, жертвы непривычно и остро воспринимаются всегда участниками дела. Те люди, в особенности, которым с самого начала предречена участь быть одной из неизбежных жертв, прежде всего начинают кричать, волноваться, отыскивать возможных виновников.

-- Веревку гнилую дали--сволочи.

-- Этого еще чорта принесло--сидел бы уж в своей конторе.

— Грех-то, грех-то какой.

Другими словами, одни приписывали несчастье небрежности ответственных лиц, другие—дурному глазу директора постройки, редко показывавшегося на пустыре, третьи—темной и необъяснимой силе, которую они называли грехом. Любопытные осматривали канат, но канат оказался достаточно крепким и достаточно толстым, чтобы выдержать тяжесть.

— Может быть, надрезал кто.

— Кому ж надо резать? Не что иное, как грех. Напирали на десятника.

— Ты смотрел, когда канат брал. Может, переверся где. Им что—какой есть, такой и подсунут.

Он клялся и божился, что смотрел.

— Быть греху, так не уберешься.

Плотники, прибывшие в большей своей части со Слуховщины, скоро нашли и тот грех, который явился причиной несчастья:

- - Такой праздник, а мы работаем. Ведь сегодня Илья пророк. Вот он, громовержец, и наказал...

Рабочие не расходились, столпившись на площади и обсуждая событие. Архитектор прокричал импровизированному митингу, что случай будет расследован судебными властями, виновных накажут, и предложил рабочим разойтись.

-- Ишь ты разойтись. А вы тут без нас что подстроите...

--- Предлагаю разойтись и приступить к работе.

— Разойтись разойдемся, -- ответил скептический голос, а работать не будем.

— Грех-то какой...

Плотники убирали свои топоры, столяры прятали в холщевые мешки стамезки и фуганки, землекопы забирали лопаты и шли к баракам. Их останавливали инженеры, старосты и десятники и всякого рода старшие, но не особенно энергично и совсем уж неуспешно. Староста плотничьего цеха Михалок сам поддерживал забастовщиков.

— Я ж говорил—грех. Праздник-то какой...

А на другой день никакого праздника не было, но на работу никто не вышел. За успокоение строителей взялся местком, не нашедший никаких

поводов для возникшей на постройке «бузы», но и он со своими ораторами и уговаривателями ничего не достиг.

— Все вы там заодно. Знаем...

И в довершение всего некоторые рабочие на свой страх и риск двинулись в контору за расчетом. Им заявили, что денег до субботы не будет, что банк закрыт. Этого достаточно было, чтобы количество желавших получить расчет увеличилось вдвое, и толпа рабочих заполнила контору, напирая на кассиров, на машинисток, на дверь кабинета Юрия Степановича Боброва.

— Дать им расчет и пусть катятся,— предложил Метчиков после долгих и тщетных убеждений. Задрезбуждали тревожные телефонные звонки, забегали артельщики и кассиры, толстые дверки нестораемых шкафов открылись в неурочное время и в неурочное же время, вечером, стали выдавать уходившим строителям заработанные ими червонцы. Пивные и трактиры переполнились посетителями, осиротевший, умолкший городок наполнился к ночи пьяными голосами строителей, справлявших поминки по своему погибшему товарищу.

На другое утро состоялись торжественные похороны. Похороны эти были обставлены всей возможной пышностью—и двумя оркестрами, и

ротой красноармейцев, и венками, и речами, и делегациями от рабочих заречной стороны.

— Где ж хоронить-то будем,—беспокоился накануне архитектор.—Все, кажется, предусмотрел, а вот кладбища не предусмотрел. Надо бы прежде наметить. Где ж мы были-то...

Место для кладбища так и не было найдено, и хоронили тут же на площади перед зданием будущего исполкома, чтобы потом поставить на могиле памятник, указывающий всем и каждому из жителей нового города, что постройка его, как всякое человеческое дело, не могла обойтись без жертв.

Полученные и частью оставленные в трактирах и пивных червонцы, торжественные похороны или время, имеющее благотворное свойство само собой прекращать волнение неустойчивых, но только на другой день, после поминок, устроенных тут же на площади у могилы убитого товарища, поминок, начавшихся похоронными песнями, а кончившихся чуть ли не пляской у разожженных из щепок костров, строители вышли на работу.

Поминки устроил и архитектор.

Возвращаясь вместе с Бобровым в город, он сказал:

— Что я достал. Пальчики оближите... Зайдемте ко мне—покажу. Удивитесь...

— Что ж—удивляйте.

Архитектор подошел к заветному шкафчику, не торопясь вынул из шкафчика посуду, похожую на аптекарский пузырек с серой в желтых пятнах французской наклейкой.

— Пробовали когда? Настоящий шартрез!

Со вкусом вытер рюмки, осмотрел их на свет, на свету же наполнил их золотисто-желтой жидкостью, еще раз полюбовался заигравшей в стекле ароматной влагой и сказал:

— Ну, господи, благослови—за помин души. Хороший был человек.

\* \* \*

Нужно было принять особенные меры, чтобы уничтожить напряженную атмосферу злобы, недоброжелательства, подозрительности и недоверия, которая сгустилась над строителями и над самой постройкой. Глухое волнение среди рабочих, не особенно охотно принявших за работу, склона и недовольство среди служащих, разговоры о замазанных злоупотреблениях, о том, что кто-то греет руки, что строится не город для живых, а кладбище, что дома в новом городе будут без печей, что каждая из новых построек грозит обвалом. Затихшая было кампания против строителей, казалось, начиналась снова, и, чтобы прекратить ее, нужны были особенные меры.

В качестве такой меры выдвинуто было и всеми поддержано предложение устроить осмотр городка представителями рабочих заречной части, во главе с представителем губисполкома. Поездки предполагалось закончить митингами как на самой постройке, так и на фабрике, где представители рабочих должны были в тот же день дать отчет обо всем виденном ими.

Строители первый раз за все время **могли** вблизи рассмотреть председателя и составить каждый свое мнение о его наружности.

— А кто это толстый такой?—говорили они.

— Председатель. Если по-старому рассуждать— в роде губернатора.

— Ишь ты ведь.

Председатель после долгого перерыва первый раз снова мог погрузиться в родную себе стихию. Ведь когда-то сам он был таким же строителем, таким же плотником, как и они. Он хорошо знал и помнил их быт, их привычки. Стараясь показать, что он тоже свой брат каждому из этих столяров, плотников, каменщиков и землекопов, он делал шутливые замечания, спрашивая о работе, употребляя полузабытые технические термины. Но из этого ничего не выходило. Рабочие отвечали в двух словах, с преувеличенной охотливостью, но тотчас же замолкали. За каких-нибудь восемь лет словно бы пропасть легла между

ним и этими людьми—бывшими товарищами его по ремеслу, бывшими, может быть, сподвижниками по революции и товарищами по фронту. Он был человеком другого мира, высоким начальством.

У одной из построек работали знакомые нам слуховщинцы.

— А это у нас плотничий староста,—познакомил архитектор председателя с Михалком.

— Приехали посмотреть,—не стесняясь, начал разговор Михалок, не потерявший бы и в присутствии более важного начальства.—Но может быть такого рода картины вас не привлекут—все это низкая природа,—закончил он скороговоркой, показывая на работавших плотников.

— Эге, да ты товарищ видно поэт,—засмеялся председатель.—Я не вижу ничего низкого. Сам плотник.

Плотники с недоверием посмотрели на него. Лукьянов почувствовал, что должен доказать свое заявление на деле.

— Дайте-ка мне топор,—сказал он Михалку и сбросил пиджак.

Под недоверчивыми улыбками он взвесил на руке топор, приладился.

— Ну-ка, давай.

Топор неловко врезался в дерево.

— С непривычки, — оправдывался председатель. — Ну-ка еще попробую...

Следующий удар был уже мастерским, от дерева отлетела мягкая желтовато-розовая щепка.

— Сыроват лесок-то, — сказал председатель и по незабытой еще привычке поплевал на ладони, перекладывая топор с руки на руку.

— Что ж поделаешь — торопимся, — оправдался Михалок.

Бревно быстро было обтесано — председатель взялся за другое.

Плотники, с недоверием наблюдавшие за Лукьяновым, чтобы не отстать от председателя, тоже принялись за работу.

— Что еще делать? Распоряжайся, ты тут старший, — сказал председатель Михалку.

Работа закипела. Из-под топора летели мелкие щепки, с сухим треском отваливались толстые щепы, вырубались гнезда, выдалбливались пазы для шипов. Минут через пять Лукьянову казалось, что он никогда не занимался ничем, кроме плотничьего ремесла. Постепенно рабочие привыкли к нему, чуть-чуть посмеивались и перешли на фамильярный тон.

— Ну-ка, председатель, подсоби.

— Эй, председатель, выручай.

Товарищ Лукьянов раскраснелся, повеселел... Он бегал, забыв свою несколько неподходящую

для плотника тучность, задышался от непривычки, смеялся неловкости товарищей, своим собственным неудачам.

— А это у нас не так делалось,—иногда замечал он.

— Так вы откуда? Русский, небось. А у нас на Слуховщине по-другому... Учитесь по-нашему... Науки юношей питают, отраду старцам подают... Ну-ка, давай.

Председатель не отставал. Плотники, работавшие на соседних участках, потихоньку приходили смотреть—и уходили довольные.

- Вот это дело. Молодец.

А председатель, видя такое внимание, увлекался все больше и больше. Он вспотел, успел разорвать брюки, оказавшиеся очень неудобной одеждой,—и все работал и работал, увлекаясь, покрикивая на других, растирая болевшие от непривычки мускулы. Он не заметил, как на западе появилась розовая полоса, длинные тени побежали от срубов.

— Пора и шабашить,—сказал Михалок.

Только тут Лукьянов заметил, что работал часа два. Он бросил топор, надел сюртук, почистил брюки от вцепившихся в сукно щепок.

— Прощайте, товарищи.

— Всякого добра,—ответил Михалок и, лукаво улыбнувшись, добавил:

— Приходите когда еще. Даровому работнику всегда рады.

Когда председатель уехал, у строителей весь вечер только и разговоров было, как о нем.

— Вот тебе и губернатор.

— Свой брат...

Но в этих словах уже не было оттенка—«из грязи да в князи», а наоборот—оттенок дружественности и даже отчасти гордости.

Небольшой эпизод этот сыграл большую роль, чем все речи, увещания и митинги. Строители подтянулись, и работа пошла дальше без особенно крупных недоразумений.

## XXV

О, прежде дбрь, се коль населена.

---

Вожденнейший ныне покой и ныне  
приятное время.

*В. Третьяковский.*

Дни становились короче: дожди и холодные ветры мешали работам, плотники, каменщики и печники мерзли в легких бараках, река наполнялась осенней водой и чернела под вялыми лучами холодного солнца. Отдельные партии строителей уходили за ненадобностью, сократилась работа в конторе, где только счетоводы и бух-

галтеры торопились подготовить отчет, проверяя старые счета и подводя итоги. И чем ближе было к концу работы, тем тревожнее и тревожнее становилось Юрию Степановичу: словно заканчивая столько сил стоившее дело, он терял что-то и даже сознание, что на пустыре вырос целый город, мало смягчало чувство непоправимой утраты.

Незадолго до праздника октябрьской годовщины специальная техническая комиссия принимала город. Она не могла не подивиться красоте стройных проспектов, замощенных кое-где шашками, уютности узких переулков, аллеям, засаженным молодыми тополями, игрушечным домикам, блестящим на осеннем солнце свежеекрашенными крышами и белой тесовой обшивкой. Характер Боброва, как строителя и организатора, не мог не отразиться на произведении его мысли, и любовь его к внешности получила резкое выражение в наружности городка.. Комиссия осмотрела каждый домик, лазала для проверки сделанных работ на чердаки, проверяла прочность мостовых и работу фонтана на главной площади—гордости Галактиона Анемподистовича, использовавшего при помощи остроумного сооружения подпочвенную воду,—и нигде не нашла таких дефектов, которые бы позволили забраковать произведенную работу. Она только успела заметить, что главное здание и проспект находятся не там, где

полагалось бы им находиться по первоначальному плану, и что главный проспект шире, чем нужно, и не вполне удовлетворяет стремлению к прямолинейности.

— Это у меня глаз косит,—отговорился архитектор:—от роду так—прямой линии не чувствую.

Но в общем работу можно было только одобрить.

Подготовка к открытию продолжалась неделю. Гирлянды от фонаря к фонарю, флаги над каждым домом, лозунги и ленты, перекинутые через дорогу,—все это было обдумано самим Бобровым, которого эта часть работы увлекала даже, пожалуй, больше, чем самая постройка. Приехавший специально для этой цели из столицы художник, принадлежавший к одной из самых левых группировок, предложил даже окрасить тополя и кусты в какой-либо необычный для них цвет. Бобров не согласился. Деревья и кусты сохранили свою естественную окраску, но за то уже никак нельзя было избежать символических конструкций, похожих на огромные гимнастические аппараты для цирковых упражнений, которыми художник разукрасил и площадь и перекрестки главных улиц.

Гирляндами, флагами и конструкциями был украшен также и мост, по которому ходили уже отдельные пешеходы да жители сгоревших сло-

бод, не дожидаясь торжественного открытия, спешили перетащить через него свой несложный хлам, в новые, пахнувшие краской, смолой и свежим деревом жилища.

Торжество мало чем отличалось от всех подобных торжеств: с утра на фабричных дворах, у под'ездов учреждений и просто на перекрестках собирались кучки рабочих, выроставшие в нестройные толпы, нестройные толпы выстраивались в колонны и, выбросив красные с лозунгами знамена, двигались к рабочему городку. Чистенький свежевыкрашенный трамвайный вагон шел во главе процессии по трамвайному пути, соединившему новый поселок со старым городом. Во главе процессии шли наиболее видные участники постройки и рабочие-строители.

Арка, увитая гирляндами, в которую художник вложил все свое искусство и для которой не пожалел он самых замысловатых конструкций, остановила демонстрацию, красная, перекинутая от фонаря к фонарю, лента преградила ей путь.

Товарищ Лукьянов открыл митинг. Пролетарский гимн—и вслед за гимном—речь председательствующего о великой победе на трудовом фронте, о начале подлинного социалистического строительства, о будущей победе коммунизма.

-- Шесть месяцев тому назад, здесь был пустырь—сегодня вы увидите новый город, каким-то

чудом выросши на этом пустыре: это чудо создали—соединенные усилия всего пролетариата.

Приветствия от губисполкома, от губкома, горкома, от профсоюзов, от рабочих заречной стороны, приветствия от организаций, приветствия, наконец, от отдельных лиц, телеграммы из центра, речи, поздравления...

Бобров стоял на трибуне. И несмотря на то, что не раз и в приветствиях, и речах, и поздравлениях упоминалось его имя с самыми лестными для него эпитетами, из которых каждый когда-то переполнил бы его гордостью, он не слушал ни речей, ни поздравлений, ни приветствий. Он видел тут же рядом с собой товарища Лукьянова, сохранявшего строгую серьезность председателя торжественного митинга, Алафертова, успевшего накануне торжества помириться с Бобровым, покаявшись во всех вольных и невольных грехах, Мусю в простенькой суконной кепке, прекрасно, однако, оттенявшей цвет ее лица и волос, и в простеньком пальто, чтобы меньше выделяться среди присутствующих, архитектора, прислонившегося к барьеру и с преувеличенной ласковостью объяснявшего что-то стоявшей рядом с ним Нюре, в глазах которой можно было прочесть и внимание, и любопытство, и даже нежность.

А дальше опять знакомые лица: прислонился к фонарю Михалок, Палладий Ефимович, сопро-

вождающий товарища Ерофеева как верный и преданный оруженосец, подрядчики, изобретатели, машинистки, плотники, каменщики, столяры, землекопы,—люди, которых он ежедневно видел, которых он знал настолько, чтобы чувствовать тайные пружины, управлявшие их действиями.

А дальше сбитая в плотную массу толпа, среди которой трудно найти знакомое лицо, трудно даже различить и самые лица,—многоголовое существо, управляемое единой волей, единым желанием.

Но так ли это? Что такое толпа? Существует ли она? Может быть, это только граница знания пружин, управляющих действиями каждого отдельного человека: вся она, замершая сейчас в ожидании слов, которые раздадутся с трибуны,—одно целое. Но каждый из толпы смотрит в свою сторону, каждый отделяет себя от другого, у каждого свои мысли, свои чувства, свои желания. Может быть, втайне они ненавидят друг друга, может быть, завидуют, может быть, каждый не усомнится через труп другого добыть свою долю счастья—свою долю славы, богатства, любви. И каждый стремился здесь на стройке получить эту свою долю, но вместе с тем принес труд, знание, опыт, энергию и мысль, памятником которых и будет этот чудесно выросший город.

— В каждом из нас чорт, а все вместе—церковь божия,—вспомнились ему слова архитектора. — Не церковь, а мощный коллектив строителей новой жизни, если есть рука, направляющая и ограничивающая все эти отдельные чувства и желания...

Что же такое он, Бобров? Руководитель—капитан корабля—или только матрос, один из тех, кого надо вести, кем надо руководить, кого надо направлять? Достоин ли он всех этих похвал, приветствий и поздравлений? Что он дал этому делу и что получил?..

Бобров в задумчивости не слышал, как председатель назвал его фамилию, и не заметил, как все взгляды в удивлении обратились к нему.

— Тебе говорить, что ж ты,—толкнул его Метчиков.

Бобров встрепенулся. Встал. Поднял глаза.

И вот перед ним не было уже ни Муси, ни архитектора, ни толпы разрозненных, чуждых друг другу людей, которых он видел только за минуту. Перед ним были—строители новой жизни.

И тут произошло то, что не раз происходило с Бобровым, когда он выступал перед большой аудиторией. Он забыл все заранее приготовленные слова и фразы, которые вчера еще заботливо подбирал одну к другой. Он как будто бы

провалился в пустоту и похолодевшими вдруг губами произнес одно робкое и неуверенное:

— Товарищи!

Толпа замолкла и насторожилась. Бобров выдержал полминутную паузу и начал говорить, сначала тихо, потом постепенно все повышая и повышая голос, постепенно наполняя его чувством и пафосом, все более увлекаясь и горячась, как молодая, неопытная лошадь, которая нетерпеливо стоит в запряжке, покусывая удила и готовясь вот сейчас сорваться с места...

— Товарищи! Никто из присутствующих на этом празднике не может приписать себе чести называться строителем города. Все вы, охваченные порывом, взвалили на себя трудности дела и благополучно пронесли через многочисленные препятствия. Вы не испугались, не побоялись споткнуться на пути, хотя многие скептические голоса останавливали вас, предупреждали, что можно остушиться.

И вот—вы победили.

— Знаете, что требовалось прежде всего? Не дерево, не камень, не железо—требовалась воля к труду и вера в победу. Требовалось еще, сломя голову, броситься в рискованное дело, преодолеть косность: требовалось не обращать внимания на те голоса, которые обвиняли нас в том, что мы затеваем авантюру.

— Так пусть же это будет авантюра. Я не боюсь этого слова. Разве все завоевания техники, которые привели нас от каменного века к социализму, не были связаны с тем, что называется духом авантюризма, владевшим предпринимателями и изобретателями? Перед нами — непочатый край, непочатые богатства, непочатые силы, непочатые возможности. Будем же верить, что и в нас самих лежат такие же богатства, в виде нашей воли, нашего упорства в труде...

— Объявляю рабочий горбодок открытым, — сказал кто-то позади Боброва.

Заботливо подсунутыми кем-то ножницами Бобров прикоснулся к ленте. Руки его дрожали, и ножницы только мяли ленту. Кто-то натянул ее — и освободившиеся концы под рукоплескания взметнулись немного вверх и потом медленно опустились вниз, на дорогу.

Бобров продолжал стоять на трибуне утомленный, и его глаза, в которых ничего уже не осталось от прежнего под'ема и увлечения, равнодушно смотрели вокруг, не узнавая знакомых.

Архитектор легонько взял его под локоть и сказал:

— А ведь молодец. Как у вас хорошо вышло.

И тотчас же течение толпы отделило его от архитектора, он двинулся по течению, и вместе с ним двинулись все, втапывая в грязь валяв-

шуюся на дороге красную ленту, стружки, небубренные сосновые ветки. Он чувствует чье-то прикосновение, поднимает глаза—и встречается глазами с Мусей.

— Дай руку,—говорит она,—а то потеряешься.

Он крепко сжимает эту маленькую сухую руку, которая так долго вела его на пути к торжеству, к победе, к славе.

— Теперь можно осмотреть город,—провозгласил чей-то очень громкий голос,—а через два часа на открытой эстраде концерт.

Митинг окончился. Колонны расстроились, толпа рассыпалась по городку. Лица, принадлежавшие к президиуму, один за другим уезжали. Бобров остался посреди площади с Мусей.

— Ну что ж, показывай город. Ведь я тут ни разу не была. Ах, какие домики! Прямо—игрушки... А где ты будешь сам жить со своей...

Она не договорила и заранее опустила глаза, не дожидаясь ответа. А в этих опущенных глазах светилась торжествующая улыбка.

\* \*  
\*

Через неделю после открытия собрались на вокзале все деятельные участники постройки, провожая Боброва, уезжавшего в Москву.

Муся уехала вслед за ним, двумя днями позже.

Рабочий городок, куда переселились давно ожидавшие этого дня жители заречных слобод, принял будничный вид. Флаги были сняты, гирлянды пожелтели и были убраны осенним ветром, не терпевшим этого излишнего, по его мнению, украшения. На остатках символических конструкций упражнялись ребятишки, радуясь таким необыкновенным игрушкам. На палисадниках вокруг домов появилось белье, вывешенное заботливыми хозяйками для просушки.

Праздник рабочего городка кончился, и начались его длинные будни.

---

Зимой, по санному пути, со Слуховщины знакомый уже нам Михалок со своими односельчанами привезли в рабочий городок несколько подвод толстого восьмивершкового леса. Но почему-то остановились эти подводы не у крайнего из домов городка, а проследовали дальше, на возвышавшийся за излучиной бугор, где среди таких же восьмивершковых бревен можно было заметить высокую и довольно-таки нелепую фигуру архитектора.

— Что ж это вы на отлете вздумали строиться, — спросил Михалок. — Нехорошо.

— Город сам ко мне подвинется, не беспокойся,—шутливо ответил архитектор.

Добиться разрешения построить дом вне установленного плана Галактиону Анемподистовичу удалось только с большим трудом.

— Так ведь план-то сами мы составляли—можем сами и изменить,—убеждал он.

Разрешение дано было только из уважения к нему, как к строителю города, и отчасти в силу понятного только русским уважения к слабостям и странностям всякого рода чудаков, к каковому разряду людей многие причисляли архитектора.

Домик был построен крепкий, рассчитанный едва ли не на столетнее существование, срублен по-крестьянски, с мезонином и неизбежным на крыше петушком. Михалок сам старался, выделявая резные карнизы и разукрашивая ставни. В отстроенный наполовину дом архитектор как-то привез Нюру и, показав ей постройку, сказал:

— А вот здесь мы будем жить. Ведь славно? Отсюда все—и старший и новый город—как на ладони.

Но новому городу суждено было еще одно испытание.

Половодье этой весной было таким, какого не было на памяти жителей: вода залила Грабиловку, Плешкину слободу и стояла в уровень с высоким берегом нового городка.

Уже ждали, что она не остановится и разольется по его широким проспектам и уютным переулкам, по ночам не тушили огня, заготовливали лодки—и все смотрели на реку, ожидая нападения стихии.

Но беда пришла с другой стороны—откуда ее никто не ждал. На площади перед зданием исполкома прорвался фонтан—гордость наших строителей, вода хлынула из фонтана в реку, но, встретив на пути препятствие в виде быстрой речной воды, хлынула назад и залила площадь. На несколько дней весь город был залит водой, и только одиноко на бугорке возвышался пустой дом архитектора. А когда река вошла в свои берега и наводнение схлынуло, изумленные обитатели городка увидели на месте главного проспекта не только покосившиеся, с подмытыми фундаментами дома, но и уже совершенно новое и чудесное явление: по проспекту в глубоких глинистых берегах протекала река, и на дне этой реки под слоем сероватой глины и песка виднелась кое-где высокая белая, от недостатка солнечного света, тина. Тина эта быстро позеленела, и казалось, что здесь спокон века была река.

А на Слуховщине в день наводнения Михалок, вышедший за околицу, увидел на месте векового леса большое озеро, из которого торчали верхушки деревьев.

— Водяной вернулся... Спаси, боже, и сохрани...

По мнению Самохина, интересовавшегося тем краем, в котором он до сих пор проверял и устанавливал основы культурного хозяйства, борясь с мелкими неудачами и радуясь больше, чем надо, мелким радостям, и наводнение в городке и появление озера имело одну и ту же причину.

— Лес-то свели,—объяснял он,—вода быстро ~~стала и не успела~~ убраться... А теперь уйдет... ~~Не бойтесь.~~

И вода действительно скоро ушла.

Подсчитали убытки. На место катастрофы приехала специальная комиссия, осмотрела берега новой речки, которую жители окрестили уже по имени главного строителя—Бобровкой, сказали, что не мешает укрепить берег, и признали причиной и наводнения и катастрофы **бесхозяйственное отношение к Слуховщинскому лесу**, который в дальнейшем было запрещено рубить.

На крупную, торжественную, связанную с видимым успехом и с заметным всем результатом работу всегда находится больше, чем надо, охотников—мелкая же и черная работа падает на плечи таких же мелких и незаметных людей. Исправлять причиненные наводнением повреждения пришлось Метчикову, выбранному председателем исполкома нового городка, и только один архитектор вызвался по доброй воле помогать ему.

— Хуже не будет,—успокоивал он.—Я не того еще ждал. Строить-то торопились, так ведь нужно же было. Разве ж иначе сделали бы?

И если труд, знания, опыт, умение и энергия отдельных людей оставили памятником новый, чудесно выросший город, то каждая отдельная ошибка, каждый сделанный отдельными людьми ложный шаг отозвались, и весьма больно, на жителях городка. Там требовалось возобновить сделанный из плохо обожженного кирпича фундамент, здесь меняли зараженные грибком бревна, а кое-где перебирали постройки, слишком осевшие из-за того, что они были строены из сырого леса.

Но в то же время в городке стали возникать и новые дома—только из боязни наводнения они строились теперь несколько выше, и скоро улица из новопостроенных домов соединила одинокое жилище архитектора с городом. Улица эта шла по течению реки и потому не отличалась особенной прямизной.

На беспокойную телеграмму Боброва, встревоженного катастрофой, архитектор ответил:

— Время начинает исправлять наши ошибки. Не тревожьтесь—все-таки город нас с вами переживет.

---

19392

Цена 2 руб. 90 коп.